

Сергей Шикера

ВЫБОР НАТУРЫ

роман

Сергей Шикера

Выбор натуры. роман

«Издательские решения»

Шикера С.

Выбор натуры. роман / С. Шикера — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-747921-3

Бывший режиссер Андрей Сараев после двадцатилетнего перерыва вновь собирается снимать кино и сталкивается на этом пути с неожиданными препятствиями. При этом истинную цель своего возвращения к прежней профессии Сараев хранит до поры до времени в глубокой тайне.

ISBN 978-5-44-747921-3

© Шикера С.
© Издательские решения

Содержание

I	6
II	8
III	11
IV	14
V	17
VI	20
VII	24
VIII	27
IX	30
X	33
XI	36
XII	42
XIII	44
XIV	45
XV	47
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Выбор природы
роман
Сергей Шикера
Жил человек в стране У

© Сергей Шикера, 2016

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

I

Осадок

Свеча на столе догорала, а другой в доме не было. Сараев перевел взгляд на гостя, еще раз попытался его вспомнить и не вспомнил. Он опустил лицо и с наслаждением закрыл глаза.

Как только подсевший к нему в «Виктории» моряк, загадочно улыбаясь, произнес: «Вы Сараев, Андрей Андреевич? Режиссер? Вы меня, конечно, не помните...» – Сараев сразу же его оборвал и заявил, что будет вспоминать сам, без подсказок, и показывал моряку ладонь всякий раз, когда тот порывался объясниться. Он лишь позволил незнакомцу назвать род занятий и имя, только имя. Звали его Павлом. Лет ему было около тридцати. «Не торопись. Вспомню. Само выскочит», – успокаивал Сараев. Глядя на моряка, он думал, что мог бы забыть и двухметровый рост, и грубое лицо, и грустную многозначительную усмешку, в которую то и дело складывались мясистые губы, и черную, как вакса, щетину на широких щеках, но уж эти хрустально чистые карие глаза с длинными ресницами вряд ли бы бесследно исчезли из памяти. Что-то тут было не так. Из закрывшегося подвала они, прихватив вина, поднялись к Сараеву домой, где уже сутки не было света, и вот в родных стенах, в темноте его развезло.

– Ну что, не вспомнили? – спросил моряк.

Сараев, не поднимая головы, дернул плечами. Ему уже было все равно. Возможно, знакомство было столь мимолетным, что и вспоминать не стоило.

– Я Павел Убийволк, мальчик с фокстерьером, – сказал моряк. – Помните такого?

Сараев некоторое время сидел неподвижно, потом размеренно закивал. И подумал: пора это прекращать, а то они летят и летят ко мне изо всех темных углов, как дурная мошकारа на свет. Зачем они мне? Я их не звал. Спать.

Мальчика с фокстерьером и с грозной фамилией Убийволк он вспоминал утром, стоя с чашкой кофе у окна. Да, «мальчик с собакой», эпизодическая роль в его втором, незаконченном фильме. Едва начатом фильме... Ух ты! У самых глаз за окном, как из воздуха, появился дятел. Быстро оббегав и облетев дерево и ни разу по нему не стукнув, он меньше чем через минуту упорхнул. Платан за окном стоял так близко к дому, что взгляду открывалась только срединная часть его необъятной кроны. Кривизна покоробленных долгим зноем листьев и многочисленные рыжеватые шары на длинных черенках сообщали ему в эту пору дополнительную узорчатую нарядность. Не дать ли этому красавцу имя, подумал Сараев и тут же набрал их с десяток: Борободур, Бранденбург, Бахчисарай, Будденброк, Баальбек, Бомбей... Неизменная начальная «Б» подчеркивала богатырскую мощь дерева, а перечень имен, скорее всего, был навеян рассказами мореплавателя Убийволка, пестревшими чужеземными названиями.

Вчера Сараев немного перебрал. Не много, но перебрал. Состояние теперь было так себе. Не похмелье, слава Богу, а всего лишь легкий озноб да время от времени набегавшая тень беспричинной тревоги. Ну и куда не девшийся скверный осадок. Деньги, на которые Сараев вчера начал пить, чтобы от него избавиться, он выпросил накануне у случайного собутыльника. Более того: выклянченные деньги и были тем самым осадком.

Позавчера вечером подвал был полон, и трое юношей сели за сараевский стол. Такие аккуратные, хорошо одетые молодые люди в «Викторию» заходили не часто, разве что выпить по внезапно свалившемуся поводу или отметить случайную встречу. Заведовал столом, то есть бегал к стойке, веселый говорливый паренек, полнеющий, с наметившимися залысинами; он же попутно угощал Сараева. Однако просить деньги Сараев решил не у него, а у самого неприятного из всей троицы брюнета с темным, цвета ветчины, румянцем и спокойными холодными глазами, с которым он несколько раз безуспешно пытался заговорить. Всего противней было то, что своей жалкой просьбой Сараев почему-то еще и надеялся расположить к себе надмен-

ного юношу, вызвать у него сочувствие, даже симпатию. Что-то такое в сбивчивом сараевском обращении тот, очевидно, уловил и, протягивая новенькую бумажку, вложил в ленивый жест и в сопровождавшую его ухмылку столько брезгливого презрения, что Сараев еще с четверть часа, пока компания не ушла, сидел, виновато улыбаясь, держа купюру между пальцами, не решаясь сложить и спрятать ее в карман.

Такой вот кусающий себя за хвост зеленый змий: унижаться, чтобы было на что завтра это унижение залить... Ладно, что уж теперь вспоминать. Было и было. Бывало и не такое. Просто надо завязывать с этим пьяным попрошайничеством, постепенно входящим в привычку.

Одевшись, Сараев по заведенному недавно вновь обыкновению подошел к зеркалу. Долгое время он заглядывал в него лишь мимоходом, и за летучими процедурами – пригладить волосы, поправить заломившийся воротник рубашки – не успевал толком себя рассмотреть. Теперь, когда с легкой руки продюсера Вадима начались встречи с «нужными» людьми, к чему готовиться приходилось чуть тщательней, чем к походу за хлебом, Сараев едва ли не заново привыкал к своему отражению. Все последние месяцы он сидел сиднем, дряхлел, оплывал, внутренние часы, казалось, отсчитывали уже шестой десяток, подбираясь к середине, и тут на тебе – всё тот же юношеский габитус и то же молодежливое лицо, по которым его тотчас узнавал любой, перекинувшийся с ним двумя-тремя словами четверть века назад. Разве что чуть прибавилось седины. Не Дориан Грей, конечно, но и не безнадежный пенсионер с одышкой и угасшим взором, каким он себя ощущал. Некоторой мешковатости, впрочем, нельзя было не заметить. Что с его образом жизни и при отсутствии в доме утюга было неудивительно.

II Прохор

С улицы натянуло бензиновой вони, и пришлось открыть входную дверь.

Обуваясь, завязывая шнурки, Сараев чувствовал, как набрякают, тянут голову еще ниже складки вокруг губ и сами губы, отекают и будто увеличиваются щеки... Нет, не Дориан Грей. Снял с вешалки рюкзак и вернулся в комнату. По жестяному навесу над балконом шумно, как будто проверяя его на прочность, топтались голуби.

Опять на неделю раньше, чем следовало, закончились деньги (вот уже второй месяц, как они стали уходить быстрее, хотя трат вроде бы не прибавилось), и Сараев решил навестить своего старого приятеля Прохора, торговавшего книгами на Куликовом поле.

Вся, когда-то вполне приличная, библиотека теперь уместилась в единственном книжном шкафу. Сараев достал из него черный трехтомник Гофмана, потом, немного подумав, снял с нижней полки плотный увесистый, отпечатанный на мелованной бумаге, фотоальбом с видами итальянской Лигурии, и без всякого сожаления, беспокоясь лишь о том, чтобы книги заинтересовали покупателя, уложил их в рюкзак. Сам он, с тех пор как год назад испортился телевизор, разгонял скуку старыми, купленными еще лет двадцать с лишним назад энциклопедиями и справочниками, и ничего другого, кроме них да иногда газет, не читал.

Уже оказавшись у двери, Сараев вернулся на середину кухни, и некоторое время простоял, упершись взглядом под ноги. Потом, придерживая у бедра рюкзак, опустился на корточки и еще какое-то время разглядывал пол под собой. Наконец поднялся и вышел.

Запах бензина шел от стоявшего под балконом бежевого, ладного, с низкой посадкой грузовичка. Молодой загорелый рабочий в красной косынке стягивал с кузова мешок за мешком и перебрасывал их на подоконник раскрытого окна, из которого неслись гулкие сердитые голоса. Сараев невольно приостановился, задумавшись о том, насколько тоньше теперешнего был его детский нюх. В станице Беспечной, где они с матерью проводили каждое лето, сын хозяев, у которых они жили, часто подкатывал к воротам на зиловском самосвале, и Сараев смог бы и сейчас с закрытыми глазами отличить запах подбитых жирной грязью широких крыльев над огромными колесами от запаха самих колес. Или радиатора. А уж сколько их разных было в кабине! Всегда горячее дерматиновое сидение, резиновый коврик под ногами, оплетка руля из цветной телефонной проволоки, плюшевая бахрама под потолком и, наконец, бардачок со всем неисчерпаемым содержимым. И, кажется, все они, тонкие и грубые, приятные и не очень, до сих пор в первозданном виде хранились в памяти. Но вот сейчас, стоя у распахнутой двери грузовичка, он ничего, кроме обобщенного запаха разогретого металла да того же бензина, не чувствовал.

На развалах Прохора уже могло не быть, и Сараев решил идти к нему домой, на улицу Щепкина; звонить не стал из опасения, что тот перенесет или отменит встречу.

Двадцать лет назад Прохор (Игорь Прохоров) в составе осветительной бригады работал на первой картине Сараева, и начинал с ним вторую. Немногословный подтянутый молодой человек, не бравший в рот спиртного и каждую свободную минуту нырявший в книгу, довольно рельефно выделялся на фоне нетрезвой осветительской братии. Так же, на расстоянии, он держался и со всей прочей киностудийной публикой: дружбы ни с кем не водил, в застольях участия не принимал, в работе был подчеркнуто вежлив и исполнительен. Его ежегодные попытки поступить учиться на режиссера не имели успеха ни в Москве, ни в Питере, ни даже в Киеве. Приятелями они стали уже после того как Сараев уволился со студии по собственному желанию – поступок, которым Прохор долгое время не переставал восхищаться.

В самый разгар известных исторических событий, когда по живому перекраивалось всё и вся – от государственных границ до убеждений и биографий, – Прохору вдруг улыбнулась (да ещё как широко!) удача. В режиссеры тогда дружно повалили актеры, сценаристы, операторы – все, кому было не лень и кто мог дотянуться, вплоть до помрежей и ассистентов. Представителем от осветителей стал Прохор. Ходили слухи, что для этого ему пришлось завести роман с одной влиятельной, немолодой киевской дамой. Так это было или нет, доподлинно неизвестно (Сараев, например, сам побывавший однажды жертвой подобных слухов, предпочитал сомневаться), но как-то очень уж быстро Прохор получил добро на постановку, и картину запустили в производство. Она, кстати говоря, поначалу обещала нечто грандиозное. В основе сценария лежала история бунта украинских заключенных в каком-то гулаговском лагере. География съемок намечалась обширнейшая: Сибирь, Москва, Западная Украина, Париж, Мюнхен, Монреаль и даже, кажется, Северная Африка. В финансировании обещала принять участие украинская диаспора в Канаде, среди проявивших заинтересованность актеров назывались мировые звезды первой величины, а оператором вроде бы должен был стать сам Витторио Стораро. Баснословный, по слухам, бюджет фильма хранился в строгой тайне. Сараев иногда встречал Прохора в тот период. Около него уже постоянно вились шумные молодые люди, паслись, стуча каблуками, долговязые девицы, а сам он, казалось, навсегда расстался с молчаливой замкнутостью и, распространяя вокруг себя запахи коньяка и хорошего трубочного табака, говорил много и охотно. Кстати, тогда же он предложил Сараеву идти к нему вторым режиссером (Сараев отказался), а несколько позже, в одну очень тяжелую для Сараева минуту, оказал ему неоценимую услугу – одолжил на неопределенный срок довольно приличную сумму без расписки и процентов, как тогда повсеместно было принято. Деньги Сараев, к счастью, быстро вернул, но, как говорится, благодарность в своем сердце сохранил навсегда. Постепенно, в ходе подготовительного периода и по мере приближения к съемкам первоначальные грандиозные замыслы существенно полиняли. Заметно сузилась география, изменился актерский состав, а приготовленное для Витторио Стораро место за камерой собирался занять Дмитрий Корягин, работавший с Сараевым. Дело в кино обычное. Впрочем, даже и в таком виде размах оставался нешуточным. И вот, когда, казалось, всё, вплоть до дурацкой тарелки, которую почему-то принято разбивать об камеру в первый съемочный день, было готово, сверкнула молния и грянул оглушительной силы гром: жулик продюсер (тогда это слово только входило в обиход) снял со счета вторую выделенную на фильм, основную порцию денег и исчез с нею в неизвестном направлении. На этом всё и в один миг закончилось. Следующие несколько лет Прохор потратил на то, чтобы повторить попытку. И хотя, знакомясь, он по-прежнему представлялся режиссером, еще одного шанса им стать у него так и не появилось. А ведь на что только он не был готов ради этого. В какой-то момент он даже радикально перешел на мову, а чуть позже из Прохорова превратился в Прохорчука, попутно обзаведясь вышиванкой, моржовыми усами и мрачным взглядом исподлобья. Тогда же он стал Сараева сторониться. При встречах говорил мало, неохотно, а то и вовсе проходил мимо, отделившись коротким кивком. Сараев не обижался. «Возвращение к корням» (или к «истокам»? как-то так это тогда называлось) продлилось у Прохора около двух лет и, не принеся никаких результатов, завершилось одной громкой во всех смыслах историей. В ту зиму в центре Одессы, в дополнение к неряшливому вечно пьяному ряженому козаку с люлькой, появился фольклорного вида тындитный хлопчик с раритетной и весьма дорогой, с его же, правда, слов, бандурой. Щадя по возможности редкий инструмент, он только время от времени осторожно пощипывал коченевшими пальцами струны и что-то еле слышно мурлыкал себе под нос. Зима набирала силу, желающих попрердержать шаг, не говоря о том, чтобы остановиться и послушать, становилось всё меньше, и надо было видеть, с каким восторгом на посиневшем, сжавшемся в кулачок личике вскакивал наш бандурист всякий раз, когда какой-нибудь замотанный по самую макушку иностранец с зашедшего на полдня в Одессу круизного судна изъявлял желание с ним сфотографиро-

ваться. В обычные же дни ему бросали какую-то жалкую мелочь, и, разумеется, не за невнятное его музицирование, а исключительно из сострадания. Многих еще сбивали с толку наряд и бандура: слушать его, как было сказано, никто не собирался, а подавать как нищему не приходило в голову. Этого-то хлопчика и приютил у себя на Щепкина Прохор, остановившийся однажды перед ним эдаким строгим, насупившимся Кобзарем. Под каким предлогом и на каких условиях это произошло, неизвестно; поговаривали о разном, слухи ходили вплоть до самых игривых, но верной была, скорее всего, версия, что за теплую койку паренек должен был помогать делать Прохору ремонт в квартире. При этом рассказывали, что Прохор его даже и не кормил толком и потому днями тот всё так же продолжал сидеть на Дерибасовской или на Приморском бульваре. Тихо и мирно они прожили с месяц, как вдруг однажды ночью, в самом начале весны, из квартиры Прохора, переполошив соседей, во всю мощь грянула песня Петра Лещенко «Моя Марусечка». Тут же понеслись крики, шум и грохот. Потом из распахнутого настежь окна на грязный мартовский снег полетела обувь и какие-то тряпки, и собирать их выскочил полуголый босой бандурист с окровавленным лицом. А через минуту во двор бодро и целеустремленно вышел и сам Прохор с уникальной бандурой, которую он, сняв с плеча, двумя ударами разбил в щепки о ближайший угол дома. История попала в криминальную хронику, и Прохор нажил себе врагов среди местных националистов, попытавшихся привлечь его к уголовной ответственности за вандализм. После этого им была предпринята попытка уехать и закрепиться в Москве, также закончившаяся фиаско. В Одессу он вернулся злой как черт, и вскоре занялся книжной торговлей. Неудача с режиссурой, да еще в такой близости от успеха, Прохора подкосила. Было видно: человек сломлен. На первого попавшегося он теперь выливал столько желчи, что встречаться с ним еще раз не хотелось. В очередной раз он воспрянул во время событий на киевском майдане. С их началом он отбыл в Киев, и Сараев дважды видел его по телевизору: в первый раз Прохор, перевязанный по лбу ярко-оранжевой лентой, остревенело колотил палками по железной бочке, а уже через две недели, представленный титром «полевой командир», давал интервью (он опять изъяснялся мовой). Однако и с политической карьерой что-то у него не заладилось (о чем ниже), и спустя несколько месяцев Прохор вынужден был вернуться в Одессу.

Они никогда не ссорились, просто само течение жизни разносило их все дальше друг от друга. В последний раз они близко сошлись, когда Сараев продавал квартиру на Пастера и искал другую. Вдруг появился откуда-то прослышавший об этом Прохор и предложил свое посредничество. Не всё, как потом оказалось, было чисто в той сделке, но Сараеву не хотелось в этом копаться. Денег он получил ровно столько, чтобы купить то, что ему понравилось, а оставшуюся их часть положить в банк. Всё.

III

Поговорили

Он застал хозяина за обедом. В халате на голое тело тот ел борщ, и время от времени вскакивал и мешал в сковородке на плите второе блюдо. Ел шумно, неряшливо, то и дело бросая ложку и вылушивая следующий зубчик чеснока. Первым делом, как только они вошли в кухню, Прохор выпил стопку водки и спрятал бутылку в холодильник. Сараева, день которого не так давно начался, этой ударной триадой – борщ, водка, чеснок – в первую минуту так и оглушило. (Хотя от водки, если бы ему предложили, он бы, наверное, не отказался, а там, глядишь, дошло бы дело и до остального.) Во всем поведении Прохора, в его беззастенчивых манипуляциях с бутылкой, в грубом и звучном заглывании, в постоянном почесывании груди и недавно заведенных бакенбардов, в громком стуке ножом о край сковородки сквозила мрачная нарочитость. Гостям тут сегодня явно были не рады, и на хорошую цену книг можно было не рассчитывать. Рядом с Сараевым, в дополнение к духоте и запахам, надсадно гудел разболтанный компрессор, качающий воздух в заросший мхом аквариум с горящей внутри лампочкой.

– Я тут кое-что принес... – начал он и потянул за лямку рюкзак на полу.

– Это ты зря, – остановил его Прохор. – У меня денег нет.

– А в долг?

– Да никаких нет.

Помолчали. Собственно говоря, можно было и уходить. Теперь Сараев жалел, что сунулся без звонка.

– Ну, а как вообще жизнь? – спросил Прохор, в очередной раз становясь у плиты, чтобы помешать в сковородке. – Говорят, ты кино собрался снимать.

– Ну, «собрался» громко сказано. Есть кое-какие соображения...

– А что ж ты молчишь?

– Так я же говорю: зыбко всё очень. Одни разговоры.

«Вот оно в чем дело, – подумал Сараев, – и так откровенно...»

– Сглазить, что ли, боишься? – насмешливо произнёс Прохор.

– Нет, не боюсь. Ты же меня знаешь.

– Да вот, выходит не очень.

Прохор выключил газ, отнес и поставил сковородку на стол, потом достал из холодильника водку, налил и вернул бутылку на место; водку, не отходя от холодильника, выпил.

– И о чем кино? – спросил он, возвращаясь за стол.

– Пока не знаю. Еще и сценария нет.

– В общем, что скажут, то и снимешь.

– Посмотрим. Есть, на всякий случай, одна идея, но пока рано говорить.

– Ну, если рано, то не говори. Еще украдут. Кругом уши, уши! – Прохор, вытаращив глаза, побросал по кухне испуганные взгляды. – Ладно. Не хочешь говорить об этом, скажи тогда такую вещь. Давно хочу спросить. Как ты думаешь, вот где сейчас все эти наши бывлые отшельники – помнишь? – все эти сторожа, кочегары, дворники? Бескомпромиссные культурные герои. Куда подевались? А ведь какие борцы были! Бессребреники. И что? Где они? Чего это все так сдулись?

– Ну, может, и есть где-то... я не интересовался. А ты что, по ним соскучился? Или ты это сейчас меня имеешь в виду? – спросил Сараев. – Так я никогда и не был никаким героем. Ты же знаешь мою историю.

– А какая твоя история? Насколько я помню, ты вроде бы бросил кино, потому что решил, что это не твое. Разве нет?

– Ну? – с неохотой произнес Сараев, уже понимая, куда Прохор клонит.

– Так это я тебя спрашиваю: ну? И что случилось?

«Какого черта!» – возмутился Сараев. Вот уж кому-кому, а Прохору со всеми его выражениями и петляниями, со скоростным слаломом на крутом историческом спуске лучше было бы помолчать.

– Я что-то не понимаю. Что ты хочешь сказать? что я роняю себя в твоих или еще чьих-то глазах? – сказал, усмехнувшись, Сараев; вместо легкой усмешки получилась горьковатая.

– Да какое мне дело, что и перед кем ты там роняешь! Ты разговор-то в сторону не уводи. Я же совсем о другом говорю.

– О чем?

– Ну чего ты дураком прикидываешься? Ты, может быть, думаешь, меня тут зависть душит? Да я только за! Пока есть придурки, готовые швырять деньги на ветер, надо этим пользоваться. О том, что ты сварганишь, скорее всего, какую-нибудь убогую серую херню, мы ведь спорить не будем? Это ведь и так понятно, правда? Да и что ты еще можешь снять после двадцатилетнего перерыва и при твоей любви к кино? Так что ни твоему богатству, ни будущему громкому успеху я не завидую. Успокойся. Ты лучше на мой вопрос ответь.

– Прохор, что ты хочешь? Тебя интересует, почему я когда-то из кино ушел, а теперь вот решил снимать?

Прохор сидел, вполборота повернувшись к Сараеву, положив локоть на спинку стула. Ядовито улыбаясь, он восхищенно покрутил-покачал головой.

– Нет, ну вот же вы всё-таки народ, а!.. до последнего извиваться будете. Пока шею рогаатиной к земле не прижмут и по голове не дадут. Я тебя о чем спрашиваю? С самого начала спросил. Что изменилось?

– Где?

– Да хоть где! За окном, на улице, в головах, в мозгах, в мире! Почему раньше у таких, как ты, заколачивать любым способом деньги считалось западло, а теперь нет? Что изменилось?! Вот для тебя. Объясни. Количество денег? Значит, всё дело было в цене?

Сараев еще раз подивился и откровенности Прохора и его вопиющему лицемерию. Впрочем, и то и другое, кажется, вполне им осознавалась, и как-то по-особому его будоражило.

– Ну, во-первых, я ничего для этого не делал. Мне предлагают, я соглашаюсь, – ответил Сараев.

– Ну, во-первых, я тебя не об этом спрашивал. Ладно, допустим. А почему ты не соглашался двадцать лет назад? Ведь тоже предлагали? Бросил фильм и ушел. А сейчас, вдруг... Что произошло? Случилось что-то экстраординарное? Может быть, во сне к тебе явился Бергман и сказал «иди и снимай»? Или может тебя возбудило то, что твоя бессмысленная солдатская дребедень где-то там вошла в какой-то список? Ну так ты же разумный человек, должен понимать, что твоей вины никакой в том нет и заслуга тут исключительно твоего оператора, Мити Корягина.

Сараеву становилось тошно от этого разговора.

– Ладно, пойду я, – сказал он, поднимаясь.

– А может, ты вдруг перестал быть бездарью, какой сам себя двадцать лет назад признал? – не отставал Прохор.

– Нет. Не перестал, – мрачно ответил Сараев. Это было как-то совсем грубо, нехорошо.

– А тогда что? Не хочешь отвечать? Или не знаешь, что ответить?

– Когда-нибудь отвечу. Сейчас не могу. Появилось кое-что. Для меня очень важное. Пока можешь мне просто поверить.

– С чего бы это?

Сараев пожал плечами.

– Ну, не знаю... просто по-дружески поверь, и всё.

И Сараев пошел прочь.

Он уже выходил на улицу, когда услышал за спиной: «Стой!» Прохор в развевающемся халате вбежал в подворотню и с размаху метнул Сараеву его рюкзак – сорвавшийся с ладони, он ударил в низкий свод подворотни и шлепнулся между ними.

– Барахло свое возьми! – крикнул Прохор. – И запомни: мои друзья не принимают у себя этого подонка и негодяя Резцова, понял?

Сараев смотрел на него во все глаза.

– А ему, тварёньшу, передай, что он по краю ходит, я не шучу! – добавил Прохор и, запахнув халат, зашагал было обратно во двор, но на полпути обернулся и, выбросив указательный палец, прокричал: – И ты тоже, если ты с ним заодно!

IV У Резцова

Так его еще никто не провожал. Это что такое было?!.. Ну и ну! А эти допросы, попреки? Нашел баловня судьбы! Да знал бы он о том черном, бездонном, всегда и повсюду... Во внезапном движении за правым плечом ему почудилось стремительное приближение Прохора в халате, и – мимо самокатом медленно проехал велосипедист – он едва не выкрикнул: «Ты мне еще не всё сказал?!»

Сараев терпеть не мог улицу Преображенскую, – всегда людную, шумную, замусоренную, тонущую в автомобильном чаду и в прогорклой вони ларьков с быстрой едой, – но спохватился только на переходе через Троицкую. И тотчас всё, из-за чего он обычно обходил Преображенскую стороной, обрушилось на него с удвоенной силой. Он прибавил шаг. Окна в домах напротив одно за другим вспыхивали отраженным солнцем, а при повороте на Успенскую оно само, грузно висевшее над густым многослойным шатром из софор и акаций, яростно шарахнуло в лицо. Он прошел еще немного и свернул, наконец, на тихую Кузнечную. Ну да: заодно и душу отвести – кто ж утешит лучше, чем недруг твоего обидчика. Кстати, а откуда Прохор знает, что Резцов иногда заходит к нему по субботам, возвращаясь со Староконного рынка? Следит он за ним, что ли? Да он и в самом деле, кажется, не в себе...

Резцов ждал в мастерской каких-то важных заказчиков, но услышав, что Сараев пришёл к нему от «окончательно взбесившегося» Прохора, решил уделить ему несколько минут и, быстро приготовив кофе, вышел с ним в палисадничек.

Некоторое время и в те же самые годы Резцов работал на киностудии декоратором, но там его Сараев не запомнил и познакомился с ним уже как с модным художником несколько лет позже. Это случилось на открытии его выставки в Художественном музее, куда Сараева привёл всё тот же Прохор, в то время ближайший друг Резцова. Благодаря одному происшествию Сараеву хорошо запомнился тот день. Из музея пошли отмечать открытие в мастерскую Резцова (тогда она у него была на Княжеской). За пестрой толпой знакомых художника увязался некий гражданин, по виду из младших научных сотрудников, инженеров или что-то вроде этого. Смущенно улыбаясь, он зашагал рядом с Сараевым, очевидно, почуяв в нем такого же новенького. Лысина, очки и портфель придавали незнакомцу вид тяжеловесной солидности, особенно на фоне богемной публики, хотя лет ему было не больше тридцати пяти. Конфузливо посмеиваясь, он вертел головой, поправляя то и дело очки и донимал Сараева вопросами. Всё это, видно, было ему в диковинку. Сараев, как мог, удовлетворял его любопытство. В просторной мастерской, куда они пришли, висели работы, мало отличавшиеся от выставленных в музее, – те же парящие в воздухе человеческие конечности на фоне каких-то руин. (Прохор шутил, что его друг в детстве стал свидетелем взрыва бани, и его картины – результат той, неизжитой до сих пор, детской травмы.) В мастерской предполагаемый научный сотрудник стремительно и тяжело напился, и менее чем через час в смежной комнате вслед за несколькими громкими возгласами послышался шум плотной возни, а в следующее мгновение оттуда вывели взъерошенного и почему-то мокрого с головы до пят самозваного гостя, который, оказывается, располосовал ножом по диагонали одно из полотен. Все время пока его тащили к выходу, он упирался ногами, пытался прорваться обратно и, хватая за руки вышибал, громко, горячо говорил: «Я вас прошу! я вас умоляю! Этого не должно быть! Это всё надо уничтожить!» У самых дверей он ухитрился кого-то укусить, устроил еще одну свалку, а потом отчаянно визжал, пока его выталкивали за дверь. В памяти Сараева, как на фотографии, запечатлелся бледный неподвижный Резцов, скрестивший на груди руки и молчаливо наблюдающий за происходящим.

Почти все 90-е Резцов провел в Америке и к началу нулевых вернулся в Одессу. Некоторое время помыкавшись без жилья и работы, он постепенно возобновил былые связи и стал работать на заказ, день ото дня набирая популярность у богатых одесситов. Но уже не изображениями самодовлеющих членов, а вполне традиционными пейзажами, натюрмортами и портретами. И всё бы ничего, когда бы не категорическое нежелание Резцова по возвращении говорить об американском периоде своей жизни. За все время с момента приезда он не обмолвился об этом ни словом, в возникавших при нем разговорах о загранице или эмиграции неизменно отмалчивался, а если уж слишком настойчиво пытались его втянуть, мог даже развернуться и уйти. Кто-то назвал это эмигрантским посттравматическим синдромом. Такое странное поведение очень располагало к всевозможным домыслам и импровизациям, и вот как-то раз во время одного пьяного застолья Прохором в шутку было высказано предположение, что упорное молчание его товарища объясняется тем, что тот в Америке работал мальчиком по вызову. Еще раз: сказано было в шутку, в довольно узкой и притом нетрезвой компании, среди прочей пьяной чепухи, которая забывается на следующий день, если не в тот же самый. Но когда до Резцова дошли эти слова, он просто рассвирепел. Просто рассвирепел. Тут же были разорваны отношения со всеми, кто тогда выпивал с Прохором, а сам он был на веки вечные проклят. Эта свирепость навела многих на мысль: а не угодил ли Прохор случайно в самую точку? Несколько запоздало понял свою оплошность, кажется, и сам Резцов, и это его еще больше распалило. Прохор не один раз, и сам, и через общих знакомых, в том числе и через Сараева, пытался извиниться, и каждый раз нарывался на новые оскорбления. В конце концов от постоянных неудач в наведении мостов он рассвирепел ничуть не меньше Резцова, и между ними установилась та самая лютая, не знающая границ и приличий, не остывающая ни на минуту ненависть, которая, кажется, только и может возникнуть между некогда близкими друзьями. Увы, с годами она не становилась слабее, а как бы и наоборот. Но если Резцов жизнь вел довольно замкнутую, неделями не вылезая из мастерской, так что и придумать про него что-нибудь было трудно, то зигзаги и метания Прохора были как на ладони и давали обильную пищу для всевозможных толков. Отвечать Прохору было нечем. Как-то раз он выставил за копейки сразу в нескольких галереях города картины Резцова, которых у него скопилось за время их дружбы больше десятка. Задумка была интересная – сбить цены, – но закончилась пшиком: все работы были чуть ли не в тот же день выкуплены автором. Резцов тоже старался своего не упустить. В этом смысле оранжевые гуляния на киевском майдане явились для него, хотя бы и задним числом, событием не меньшим, чем для Прохора, принимавшего в них живейшее участие. Резцов с самого начала утверждал, что вечно озабоченный по женской части Прохор отправился туда исключительно с целью «пощупать под шумок молодого мяса». А позже (Прохор только вернулся из Киева) Резцов, ссылаясь на свидетельства очевидцев, будто бы найденные им в сети, стал рассказывать, что «полевой командир» Прохор был одним из тех, кто ведал снабжением революционных масс презервативами. За это он получил там неблагозвучную кличку, якобы ставшую в числе прочего серьезной помехой для его дальнейшей политической карьеры, поскольку трудно всерьез относиться к человеку с таким прозвищем. Резцов даже сочинил шараду на эту тему: «Мой первый слог – английское название того, за чем тянулась Геббельса рука, второй – великая и тихая река. Сложи их вместе и получишь в сумме партийный псевдоним Прохорчука». Мало того. По утверждению Резцова, просто упивавшегося этой историей, большая часть подконтрольной Прохору специфической гуманитарной помощи прямоком шла из его рук в аптеки, ларьки и ночные клубы. «Гандон хапнул там капитально, да ещё и делиться не захотел, за что его и прогнали». На робкие возражения того же Сараева, дескать, как-то совсем незаметно, чтобы Прохор стал хоть немного богаче, Резцов отвечал: «А откуда нам знать? Может, он всё там же в Киеве в казино просадил. Или припрятал на время. Или его там же на месте соратники раскулачили, – и бодро добавлял: – Ничего. Докопаемся». Когда Прохор вернулся из Киева, дело между ними несколько

раз едва не доходило до драки. Резцов в своем весе комара, разумеется, ничего с Прохором поделывать не мог, и только завидев, предпочитал ретироваться. Тем яростнее становились его новые атаки.

Сараев сблизился с ним в последние полтора года, с переездом на Молдаванку, да и то только потому, что каждую субботу Резцов ходил на Староконный рынок, пройтись по барахолке, и иногда на обратном пути заходил попить чаю.

Пока Сараев рассказывал о визите к Прохору, маленький кучерявый Резцов, поглядывая на ворота, ходил по палисаднику. Положив на стол несколько грецких орехов, один из которых был еще в плотной, лопнувшей крест-накрест коже, сел.

– Ну, что тебе сказать? Наш друг сейчас очень нервничает, – сказал он, когда Сараев закончил.

– А чего он нервничает?

– Да уж есть от чего.

Перед лицом Сараева проплыла, отсвечивая сверху вниз, длинная нить паутины. В Успенском соборе ударил колокол. Резцов некоторое время молчал, потом уложил левую голень поперек скамейки и, упершись в нее рукой, повернулся к Сараеву.

– Ладно, скажу. Тут слух прошел, что к нему его революционная жена собирается приехать. Оказывается, у нее сыну уже два года, здоровый парень, Майдан Прохорович. Кстати, как тебе такая вариация на тему «сапожник без сапог»? Вот потому наш книжник на людей и бросается. Нервишки-то ни к черту. Опять же пьет много. Хорошо хоть работа на свежем воздухе.

– Ты постарался? – спросил Сараев.

– А какая разница? Все тайное становится явным. А уж как и через кого – дело десятое.

Далее Резцов без экивоков рассказал о том, как он отыскал некую Одарку, и об их переписке. Речь у него была и так быстрая, а тут, видно, стараясь успеть к приходу заказчиков, он заговорил еще быстрее, перескакивая с одного на другое, и Сараев едва его понимал.

– Вот, со дня на день ждем. Встретимся, поговорим. Сначала она мне подробно расскажет за бутылочкой про их романтические приключения, а потом я поведу ее к нему в чертоги, – закончил Резцов.

– Не понимаю я этой вашей лютости. Вы так до смертоубийства довраждуетесь, – сказал Сараев.

Резцов хмыкнул.

– Лютости? Ну, какая же это лютость? Это пока так, водевиль. Лютость будет немного позже, когда я его, суку, в асфальт вколочу по макушку. По самую, самую шляпку! Заподлицо!

На последних словах Резцов так резко и сильно ударил два раза кулаком по фанерной столешнице, что Сараев испуганно схватился за чашки, а собранные орехи посыпались на землю. В эту секунду во дворе появились ожидаемые гости. Резцов вскочил и, потирая ребро ладони, пошел им навстречу. Сараеву же ничего не оставалось, как ступешаться.

Только на улице он вспомнил, что шел к Резцову за деньгами, и от досады выругался. К тому же получилось так, будто он приходил с единственной целью пожаловаться на Прохора, чего он никогда бы не стал делать. Что и говорить, на редкость дурной выдался денек. Может быть поэтому, увидев у себя в переулке стоявший у «Виктории» джип таможенника Демида, Сараев неожиданно для себя обрадовался. Впервые за всё время их знакомства.

V

Таможенник

Демид сидел в подвале и, как всегда, когда он был во хмелю, с застенчивой и плутоватой улыбкой глядел по сторонам. Сегодня на нем был синий служебный мундир.

«И всё-таки, до чего ж странный человек!» – лишний раз подивился Сараев, особо при этом отметив неизменно свежий цвет лица таможенника.

– Вы в конец света в двенадцатом году верите? – спросил Демид, проводя ладонью по деревянной панели над столом и внимательно глядясь то ли в ладонь, то ли в фактуру дерева.

Сараев пожал плечами.

– Чем-то расстроены? – поинтересовался таможенник.

Сараев откровенно рассказал о своих материальных затруднениях. Демид выложил перед ним две стодолларовые купюры и сказал:

– Вернете, когда сможете.

Потом он купил белого вина, и они пошли к Сараеву.

Сидевшая на веранде с журналом соседка Наташа, увидев Демиду в мундире, не сводила с него глаз, пока они поднимались по лестнице и шли до двери.

У Сараева Демид был четвертый или даже пятый раз, но с тем же любопытством, что и в первый, прошелся по комнате, заглянул в спальню, вышел на балкон и в конце концов остановился напротив отделанного карельской берёзой комода со стоявшим на нем «Телефункеном»; нежно пройдясь ладонью по крышке приёмника, снял с нее бронзовый бюст.

– Странно: Чехов, и без пенсне.

– Это Дзержинский, – сказал Сараев. – Купил на Староконном, орехи колоть.

Он сходил на кухню и принес стаканы.

– Мне что-то расхотелось пить вино, – вдруг заявил Демид.

Сараев поднял на него вопросительный взгляд.

– А что это за девица на веранде?

– Наташа. Соседка. Она немножко того, – Сараев постучал пальцем по лбу.

– Я воспользуюсь, если не возражаете, – сказал Демид и вышел.

В середине минувшей весны, сырым черным вечером этот странный человек остановил Сараева возле филармонии. Лицо было знакомое; однажды они столкнулись в дверях у Миши Сименса – реставратора и торговца трофейными немецкими приёмниками. В этот раз, нагнав Сараева, Демид протянул ему руку со словами: «Здравствуйте. Можно с вами познакомиться?» Хорошо выбритый, прилично одетый, слегка выпивший. Сараев пожал мягкую ладонь, и они представились друг другу. «А могу я вас сразу попросить об одолжении?» – сказал, смущенно улыбаясь, новый знакомый. Человек в затруднительном положении, почему бы не помочь, подумал Сараев и согласился. Тогда Демид предложил ему кое-куда подъехать, недалеко. Это Сараеву понравилось уже меньше, но застенчивая благожелательность и мольба в глазах просителя обезоруживали. На попытки Сараева узнать, куда и зачем, Демид уклончиво отвечал: «Не бойтесь, всё в порядке! Для вас это тоже будет приятным сюрпризом, увидите...» Сараев и мысли не мог допустить, что причиной была какая-то его известность, но кроме как связать просьбу со своим режиссерским прошлым, ему ничего не могло прийти в голову. Он согласился. Демид поймал такси и привез его в Мукачевский переулок, где они вошли в один из больших новых домов; поднялись на седьмой, кажется, этаж. Открыла им женщина, которую Сараев успел увидеть только со спины – так быстро она исчезла. До слуха Сараева донеслись недовольные нотки, но Демиду это ничуть не смутило. Он быстро провел Сараева по кори-

дору просторной, со вкусом отделанной и, судя по всему, небедной квартиры, и они вошли в большой уютный кабинет с камином, книгой на пюпитре возле окна и негромко звучащей музыкой. Навстречу им с дивана поднялся худощавый, средних лет человек болезненного вида, назвавшийся Алексеем, и который, по мнению Демида, был как две капли воды похож на Андрея Сараева. В этом, собственно, и заключался смысл визита. Ни хозяин, ни гость восторгов Демида не разделили, да и особой похожести, сколько он их не науськивал друг на друга, не обнаружили – так, некоторое сходство. Они поглядели друг на друга, смущенно поулыбались, перекинулись несколькими фразами, и Сараев откланялся. Еще тогда во всём этом предприятии ему почудилась какая-то темная изнанка. Месяца два спустя он столкнулся лицом к лицу с Демидом на Итальянском бульваре, и тот потащил его в ресторан в Отраде, где, едва сдерживая слезы, сообщил о недавней кончине друга Алексея. Сараев вспомнил тусклую улыбку названного близнеца, то, как он сидел на краешке дивана, втиснув сложенные ладони между коленями, и его вдруг осенило: а ведь сходством, так поразившим Демида, Алексея наверняка наделила его смертельная болезнь. И, вероятно, уже на последней стадии. Но тогда каково же было ему, умирающему, видеть радостное возбуждение товарища и невольно участвовать в его странной и даже кощунственной затее!.. После вечера в Отраде Демид стал время от времени навещать Сараева, и как-то раз привез ему кое-что из вещей покойного Алексея: два костюма, несколько рубашек, легкие летние туфли и кашемировое пальто – всё новое, по уверению Демида, ни разу не надетое. У Сараева и без того после их встреч оставалось неприятное ощущение, что ему отведена роль замены, а тут он даже растерялся, но отказаться от подарков не решился.

– Кино снимаете? – спросил таможенник, входя и потирая руки.

– Нет, что вы! И не начинал.

– Да? А мне показалось столько времени прошло... Когда злоупотребляешь этим делом (он ногтем постучал по стакану) все координаты сбиваются. Иногда, после некоторых эксцессов, это даже радует. Как-то освежает, что ли. Вам такое ощущение знакомо?

Сараев пожал плечами.

– Насчет «радует» и «освежает» вряд ли. Но какое-то обновление... да, что-то есть...

Они помолчали. Сараев пожалел, что пригласил Демида. В подвале можно было хотя бы по сторонам поглазеть, а паузы в разговоре заполнялись шумом и музыкой.

– И на какой вы теперь стадии?

– ?

– Ну, насчет фильма.

– Да как вам сказать... Всё на той же. Нужен сценарий, а его пока нет.

– У меня был один знакомый писатель. Эконома такого не знали? – спросил гость. – Эконом это фамилия. Румынская, что ли? Почему тогда не Экономеску?.. Ну, ладно. Не слышали о таком?

– Нет.

– Вот он, наверное, смог бы вам что-нибудь написать. С фантазией человек. Мне у него один рассказ запомнился. Про некоего ребе Элиягу. Или Элияху, как правильно? Вообще-то на самом деле он был русским чи вкрайнем, но с юных лет выдавал себя за еврея. Тянуло его к ним. Считал, что вся сила и мудрость только у них. И так он отлично в этом деле натаскался, что никаких подозрений ни у кого не вызывал, а в конце позапрошлого века приехал в Одессу уже готовым раввином и поселился где-то на Слободке. И вот он решил соорудить себе голема. Очень уж силён он был во всей этой каббалистике. В общем, вымахал у него такой амбал метра за четыре ростом, а тут как раз сон в руку: девятьсот пятый год, погром. Снимает он это чудовище с цепи и приказывает: давай, друже, вперед, защищай наших. Вот тут-то истинная природа наружу и полезла. И вместо того чтобы оборонять синагоги, голем пошел их крушить. А в конце еще и прибил своего создателя, когда тот решил его урезонить. Ничего

так повесть, я с интересом читал. Задумано неплохо, но исполнено вяло. И название совсем никуда. «Одесский Голем». Сухо как-то. Почти как «Одесский вестник». Ну и финал подкачал. Я бы, например, сделал так, чтобы этот голем-антисемит встретил другого голема, но уже от настоящего раввина. Вот это была бы кульминация. Встречаются они лоб в лоб где-нибудь на Пантелеймоновской возле Привоза. Первый второму говорит: «Скажи „кукуруза“» (между прочим – хорошее было бы название), и понеслась. Представляете? Битва титанов. Фонарные столбы, деревья с корнем, трамваи, или что там тогда было?.. конки?.. Всё через улицы летает, Привоз по швам трещит... Феерия!

– А разве голем умел говорить?

– Ну, этот умел бы. Более совершенная модель. Кстати, чем вам не сценарий? Предложите вашему продюсеру. Эконома этого я давно не видел, но, если надо, найдем. Покупайте права – и вперед. А-а-а, да, понял, не годится, вам что-то камерное нужно. Жаль. Интересно, куда он подевался? Писатель. Раньше я его часто в городе встречал, – Демид окинул взглядом комнату. – Хозяйка вам нужна. Я вот тоже холостяком остался и теперь медленно, но верно погружаюсь в хаос. Хотите, с племянницей познакомлю?

– Спасибо, – сказал Сараев. – Только мне сейчас как-то не до этого. Да и вообще... тут один не знаешь...

– А я не просто так. Я за ней приданое еще дам. Серьезно. На фильм, конечно, не хватит, но какое-то время весело пожить – вполне.

– Тогда я подумаю, – отшутился Сараев, как всегда несколько теряясь под хмельным безмятежно-ироничным взглядом таможенника.

Наташа принесла коньяк. Не поднимая на Демиду глаза, она поставила бутылку на стол и выложила рядом сдачу. Демид собрал деньги и высыпал в карман ее халата; потом обнял высоко за талию, довольно крепко прихватив снизу большую грудь, и заставил выпить с ними рюмку, после чего ласково выпроводил за дверь со словами: «Ты тут присматривай за Андреем Андреевичем...»

Вернувшись в комнату, он сказал:

– Вы вот холостяк, одинокий и еще крепкий мужчина. Рядом девка в самом соку, и даже более того. Как насчет близких контактов четвертой степени? неужели не было такой мысли? Скажите честно.

– Я же говорил, она немного того, – ответил Сараев. – Не совсем в своем уме.

– Да, я заметил. Так это же скорее плюс. Зачем вам ее ум? – Демид вздохнул. – Жаль, что вы такой моралист. А то могли бы с вами прикурить сигару с обоих концов – так это, кажется, называется в Южной Америке. Эх! Тянет иногда на что-нибудь такое, неординарное... И время от времени приходится себя отпускать, отдавать нечистому нечистое.

Он вздохнул, они чокнулись и выпили.

– Не бойтесь много пить? – спросил Сараев.

– В каком смысле?

– Вы за рулем. Вдруг остановят...

Демид удивленно окинул себя взглядом.

– Я же в форме.

VI Будни

После недельного перерыва позвонил продюсер и назначил Сараеву встречу со своим помощником в «Виктории» на полдень. В половине двенадцатого Сараев вышел из дому и, перейдя наискосок переулок, спустился в подвал, где сидел единственный (хуже не придумаешь) посетитель – тощий и черный от загара пляжный спасатель Климов. Выбросив вверх разжатый кулак, он крикнул: «Меня с работы уволили, слышал?» Сараев взял стакан каберне, выпил и тут же взял второй. Посмотрев вино на свет и отпив треть, он некоторое время простоял напротив выхода из подвала, бездумно глядя из его темной, уже вполне осенней прохлады вверх, на залитую солнцем улицу. В эти ласковые, нешумные дни и алкогольное воодушевление было под стать погоде.

– Что там у тебя? – спросил он, обречено усаживаясь напротив Климова.

– Тятя, тятя, наши сети, – сообщил спасатель. – Мужик в мою смену утоп, а меня не было.

– И где ж ты был?

– Болел.

– Понятно. Погоди, какая работа – начало октября?

– Так это когда еще! Мы с тобой сколько не виделись?

Действительно, последний раз они виделись месяца три назад, когда Сараев отказался впускать пьяного Климова среди ночи к себе домой.

– Молодой? – спросил Сараев.

Климов кивнул.

– Сибиряк.

– Царствие небесное, – Сараев допил вино.

– Вот тебе готовый сценарий.

– ?

– Ну а что, плохая история?

Сараев пришел в подвал пораньше с расчетом провести полчаса в одиночестве, в легком мечтательном хмелю, и теперь на языке у него вертелось: «Ну, вот что ты за трепло, Климов?», но он терпеливо спросил:

– Какая история?

– Любви. Мелодрама подходит? – Климов закурил, закинул ногу на ногу и подался вперед. – Смотри. Мужик, вроде меня, работает спасателем. Как-то прогуливает смену, а там утопленник. Или еще лучше: опаздывает. Пока просыпается, опохмеляется, добирается... В общем, приезжает, а там труп под простыней, скорая помощь, все дела. Ну и сначала вроде бы ничего, а потом его постепенно начинает мучить совесть. Причем так – по полной. Депрессия, бессонница и всё в таком духе. Полный набор. Может, даже покойник во сне является. А что? Короче. В конце концов, чтобы облегчить душу, он начинает искать его родственников, и находит жену, эффектную такую бабу. Вдову. Знакомится. Ну и между ними возникает чувство. Страсть! А он же инкогнито. Сразу-то не сказал, что он тот самый спасатель. Понимаешь, да? Затянул с признанием...

Сараев отвлекся, засмотревшись на спустившуюся в подвал рыжую фигуристую девицу, которая из большой сумки, поставив ее на пол, стала выкладывать на прилавок перед хозяйкой Викой свой товар. Когда-то такую же кожаную коричневую юбку с медной широкой змейкой носила его жена. У девицы змейка была полураскрыта, и Сараев почти ощутил упругое, как мяч, бедро в ладони и зубчатый ход замка, отдающий зудом в пальцах.

– Ну что скажешь? – спросил Климов. – Ладно, думай пока...

Он прошел к стойке и, размахнувшись от плеча, хватанул за ягодицу наклонившуюся в этот момент коммивояжерку. Лягнув мимо цели, та резко выпрямилась и угрожающе выставила какой-то баллончик.

– Извините, обознался, – сказал Климов, смеясь, пятясь, вскидывая ладони.

– Климов, ты сейчас выйдешь отсюда! Совсем с ума сошел?! – крикнула Вика.

Девушка отпустила обидчику долгий гневный взгляд, перешагнула через сумку и присела над ней с другой стороны.

Вот так просто. Учись, Сараев.

С полной стопкой, повеселевший, Климов вернулся за стол и вопросительно дернул головой. Сараев не знал что отвечать. Конец истории про влюбленного спасателя он прослушал. Выручил чирикнувший в кармане телефон. Звонил Вадим, который сказал, что помощник придет на час позже.

– Понял. Хорошо, – с показной серьезностью ответил Сараев и поднялся.

– Ну так что, сценарий покупаешь? – спросил Климов.

– Напиши – посмотрим.

Дома, ополоснув липкие от вина пальцы, Сараев сел рисовать. Постепенно и как-то само собой получалось что-то вроде раскадровки. Он и не подумал бы за нее браться, если б не принесенные со Староконного рынка цветные карандаши с кремлевской башней на коробке, которые он в тот же вечер с наслаждением заточил, и ради чего он их, собственно, и купил.

Сегодня, вспоминая подготовку мальчика к рыбалке, он, как мог, изобразил кучу навоза, которую они с приятелем перекапывали в поисках червей. Подразумевался день, когда он случайно разрубил лопатой медведку. Медведок Сараев боялся. А ту, рассеченную пополам, истекающую белесой жидкостью, упрямо ползущую прочь, запомнил навсегда. Как и жгучую смесь страха, отвращения и жалости.

Скандал у Дерюгиных, соседей по этажу, вдруг стал громче, словно напряжение между участниками скакнуло сразу вдвое, но пьяная Наташа по-прежнему перекрикивала всех, включая зашедшего в плаче ребенка. С яростным упорством она повторяла теперь одну и ту же фразу: «Вы суки, блядь, потому что вы суки, блядь!», и, сбившись на нее, уже не могла произнести ничего другого. Далее обычно следовали, а, впрочем, вот уже и последовали: шум, грохот, звон чего-то разбитого вдребезги и отчаянный визг матери и старшей сестры вперемешку с криками мужа последней, маленького круглого то ли турка, то ли азербайджанца.

Существование этой семьи (да еще и такое) явилось в свое время для Сараева сюрпризом. До переезда он ни разу ни с кем из них не столкнулся, а сообщение о матери с двумя дочерьми за соседней дверью пропустил мимо ушей. Да и чем бы оно могло насторожить? В том разбитом, истерзанном состоянии, в каком он тогда пребывал, чистая, светлая и тихая (!) квартирочка с балконом, так похожим на его родной, ростовский, настолько пришлась ему по душе, что он не очень-то интересовался всем прочим. К тому же и Наташи здесь тогда не было, она вернулась из-под Одессы только в начале зимы.

Если не считать мизерных пенсий и пособий, жили Дерюгины продажей жареных семечек и контрабандных молдавских сигарет на ближайшей трамвайной остановке. А изможденная, большеглазая сестра Наташи, молодая мать, подрабатывала еще тем, что купленные на Староконном рынке охапки дешевых цветов раскладывала на букеты и, обернув фольгой и целлофаном, перевязав яркими лентами, предлагала их влюбленным парам в уличных кафе.

Когда, за несколько минут до назначенного времени, Сараев вышел на веранду, выбившаяся из сил Наташа, свесив голову на грудь и уронив ладонь в подол, крепко спала в ободранном кресле возле своей двери.

В переулке за этот час мало что изменилось. Стояла та же ленивая тишина середины дня и, несмотря на обилие вокруг осенних примет, время здесь, казалось, тянулось еще по-летнему.

Разве что на фасадах, освещенных почти в упор невысоким солнцем, несколько сместились тени акаций.

Круглолицый, с красивыми каштановыми, расчесанными на прямой пробор волосами, да и в общем недурной собой молодой человек, которого Сараев видел второй раз в жизни, ждал его в «Виктории» за единственным свободным столом. Он выложил из папки бумаги и, деловито насупясь, принялся отчитываться за последние несколько дней. Сараев никогда не понимал смысла этих отчетов, тем более, что в первые же пять минут сознание его затуманивалось, и все фамилии, названия учреждений и цифры, которыми обычно сыпал Вадим, а вот сейчас его помощник, тотчас же и навсегда им забывались. В такие минуты Сараев часто думал о необозримых мусорных полигонах где-то на окраинах памяти, изо дня в день прирастающих горами ненужных сведений. Только одна фраза привлекла его внимание.

– Минуточку! А что это? – остановил он помощника Вадима.

– Что? – встревожено спросил тот.

– Вот это: «и был отлучен от кино на все последующие годы». И перед этим несколько фраз.

– Ваша биография. Что-то не так?

– Я понял. Но меня никто не отлучал. Я сам ушел. Перестал снимать. По своим причинам, личным.

– Да? Извините, я не в курсе. Это Вадим писал. Наверное, он решил, что так будет лучше.

С точки зрения привлекательности. Ну, вы понимаете...

Тут к их столу подошли двое молодых людей, и один из них ударил помощника кулаком в лицо. Тот упал на пол, а когда попытался встать, второй парень его опять уложил и успел еще ударить ногой. Помощник вскочил и выбежал из подвала. Молодые люди бросились за ним. Всё произошло в секунды. Сараев только протянул руку, но сказать ничего не успел. Барменши Вики, наверняка бы поднявшей крик, за стойкой не оказалось, а из сидевших в подвале ни один не проронил ни слова, лишь из угла, за спиной Сараева, кто-то негромко пропел по нарастающей: «эй... эй, эй! эй!! эй!!!», но то было не негодование, а скорее невольное вырвавшееся и отчасти веселое удивление.

Сараев собрал в папку разбросанные на полу бумаги и вернулся домой.

До продюсера он, сколько не пытался, дозвониться не мог, и когда раздался стук в дверь, подскочил и бросился открывать, как будто боялся не донести те несколько крепких фраз, что жгли ему язык.

За порогом стояла невысокая худенькая девица в широких штанах и кофте. Она была в контражуре, и в первое мгновение Сараев принял ее за одного из рабочих снизу, несколько раз прибегавших с предупреждением о временном отключении газа или воды.

– Андрей Андреевич? – спросила она.

– Да, – резче, чем следовало, ответил Сараев, ожидавший увидеть Вадима.

– Сараев?

– Да.

– Режиссер?

– Да.

Стройная, с прямой спиной девица смотрела с усмешкой и как будто с некоторым вызовом.

– Посмотрите, как он нарисовал.

Сараев взял протянутый ею листок бумаги. На нем было что-то вроде плана-схемы. Была надпись «Бар» (очевидно, имелась в виду «Виктория»), стрелки от нее шли во двор напротив, там заворачивали и упирались в квадрат с надписью «2 эт.», и еще одна стрелка показывала на дверь.

– Всё правильно, только двор не тот, – сказал Сараев, возвращая листок.

– То-то и оно, – сказала гостя, пряча записку в карман черной, похожей на бушлат кофты.

– А вы кто?

– Я от Павла.

– Какого Павла?

– Моего брата.

– А кто ваш брат?

– Он у вас в кино снимался.

– А подробней? Мало ли кто у меня в кино снимался сто лет назад...

– Он сказал, вы сразу сообразите.

– Нет, не сообразил. Вы с ним близнецы?

– Нет, вы что! У нас разные отцы, и он на десять лет старше.

– Тем более.

– Он расстроится.

– Мне очень жаль. И?

– Он у вас неделю назад был. Мальчик с собакой.

– Ах, этот... Да, вспомнил. Павел. Моряк.

– Вам подарок.

Девица двумя руками достала из сумки на плече сверток и протянула Сараеву.

– Вот. Получите и распишитесь.

– Сейчас я за ручкой схожу... – растерянно произнес Сараев.

– Я пошутила. Это же подарок.

Она круто развернулась и – Сараев даже не успел поблагодарить – быстро пошла вниз по лестнице.

Внутри тяжелого свертка оказался футляр, а в футляре большой – то ли морской, то ли полевой – бинокль. Под ним лежала записка: «Дорогой Андрей Андреевич, примите в знак глубокого уважения. Пусть далекое станет близким. Семья Убийволк».

Позвонивший только в девятом часу Вадим сообщил Сараеву, что ждет его в подвале. Об избиении помощника он, конечно, уже знал, и на вопрос «как это всё понимать?» раздраженно ответил, что не собирает досье на всех тех, с кем ему приходится иметь дело, случаются и проколы, и переживать за помощника, утаившего, какой за ним тянется хвост проблем, он не собирается. «Каких проблем?» – спросил Сараев. «Вам это надо? Всяких, – ответил Вадим. – В общем, помощника вычеркиваем. Его папка у вас? Несите».

VII

Кино: туда, обратно и опять туда

В середине лета в разговоре со старым знакомым, одесским коллекционером и культуртрегером Петром Фонарёвым-Кирпичниковым Сараев признался, что с удовольствием взялся бы снимать кино, появившись у него такая возможность. Он, конечно, понимал, что неугодный Фонарёв в считанные дни разнесет новость по городу, но не мог предположить, насколько быстро всё завертится. Да и вряд ли бы кого-то заинтересовало его намерение вернуться в профессию, с которой он без сожаления распрощался двадцать лет назад, если бы не одно обстоятельство: в одном из зарубежных журналов дебютный фильм Сараева «Пост принял!» вошел в три сотни лучших фильмов всех времен и народов, а в короткой сопроводительной заметке его самого сравнили, ни много ни мало, с Александром Довженко и Лени Рифеншталь.

Некто Вадим, вышедший через Фонарёва на Сараева, никакого отношения к кинопроизводству не имел. Вся его деловая биография была чередой по большей части невнятных начинаний, а из внятного только и оказалось, что проведение пары-тройки корпоративных праздников и участие на вторых ролях в организации недель зарубежного кино. На что-то большее Сараев, впрочем, и не рассчитывал, по режиссеру и продюсер, а потому предложение Вадима заняться на добровольных началах его продвижением, не долго думая, принял. Первое время его только несколько раздражала ленивая брезгливая усмешка, не сходявшая с лица новоявленного продюсера. Ну и еще пришлось привыкать к его странной манере задумчиво и неподвижно смотреть водянистыми глазами не то чтобы мимо собеседника, а как-то вдоль, по касательной. Создавалось впечатление, что выражение внимания на его лице никак не относится к предмету разговора. При этом, услышав какую-нибудь вялую шутку, он вдруг резко откидывался назад и разражался громким, залившимся смехом, не совсем уж беспричинным, но каким-то несоразмерно веселым и потому всегда неожиданным.

Первым делом Вадим наделал Сараеву визиток, которыми тот ни разу не воспользовался, а через неделю в «Одесском вестнике» появилось сообщение о том, что всемирно известный кинорежиссер Андрей Сараев, фильм которого вошел в три сотни и т.д., собирается после двадцатилетнего перерыва вновь снимать кино. Коротенькая заметка была озаглавлена так: *Андрей Сараев: «Я в ужасе от того, что льется на нас с экранов!..»*. Заголовок тем более замечательный, что в кино Сараев не был с тех самых пор, как перестал быть режиссёром. Предметом особой гордости Вадима были пять сценариев, принесенных с киностудии, которые Сараев всё никак не мог заставить себя прочитать – уж слишком неприятные воспоминания связывали его с этим заведением.

О продюсерских способностях Вадима у Сараева сложилось весьма туманное представление. Понятен был общий принцип: дела тот вел размахисто, перегораживая широкое течение жизни частой сетью и дотошно перебирая всё, что туда попадалось. Но вот, что касается частных дел, логика его поведения редко была доступна сараевскому разумению и порой отдавала безумием. Тем более что Вадим не всегда считал нужным ее растолковывать, а Сараеву требовать разъяснений было неловко: у него не было не только обязанностей, но и прав. В ход у Вадима шли такие, на взгляд Сараева, сложные, многоходовые, ветвящиеся, а главное, химерные комбинации, что иногда оставалось только руками разводиться, дивясь его извращенной смекалке и предприимчивости на пустом месте. За прошедшие два месяца Сараеву пришлось поучаствовать в десятке встреч, и ни разу он не мог понять их смысла, тем более что речь о кино на них почти не шла и больше говорили о каких-то общих знакомых. Да и люди, с которыми приходилось встречаться... вот черт знает, что это были за люди!.. Предпоследней

была несчастная испитая женщина с трясущимися руками и страдальческим взглядом, которая, еле дождавшись конца разговора, выпросила у Сараева десятку. А последним стал вполне сумасшедший старичок со взбитой слюной в уголках рта и в очках с линзами такой толщины, что казалось будто они-то и были единственной причиной его безумия. Держа на перепутанных поводках тройку мелких собачек, он то и дело отвлекался на проходивших мимо девиц и, нетерпеливо суча детскими ботинками по асфальту, кричал вслед: «Девочки, девочки, какие у вас быстрые ножки!» Похоже, две эти встречи смутили и Вадима. Кризис жанра, как говорится, был налицо. Однако продюсер не унывал, и в данный момент им активно зондировалась городская община кришнаитов.

Кстати сказать, Вадим, кажется, совсем не верил, что Сараев бросил режиссуру по своей воле, и биография, зачитанная его помощником за минуту до избиения, была тому лишним доказательством. Сараев с опровержениями не спешил – пришлось бы начинать издали, а поднимать всю историю своего хождения в кинематограф только для того, чтобы переубедить Вадима, не было ни сил, ни желания. К тому же многое уже помнилось только тезисно, по пунктам. Лет шестнадцати, через девицу, в которую был влюблен, попал в компанию юных ростовских киноманов и сам увлекся кино. Увлеченность, как это часто бывает, принял за призвание. К поступлению в институт приложил руку двоюродный брат матери, большой московский чиновник. Всё было устроено так деликатно, что Сараев даже не сразу догадался. Эта легкость, кстати, всё и решила, его как пылесосом втянуло. Первые сомнения пришли довольно скоро. Там, где требовалась хоть какая-то фантазия, ему приходилось прилагать нешуточные усилия, и как же он был неповоротлив, туг на выдумку! Не в состоянии был развести плевой мизансцены, не мог толком придумать ни одного этюда, а уж монтаж с этим бесконечным, туда-сюда, елозаньем пленки был настоящей пыткой. Первое время он всё валил на внутреннюю зажатость и терпеливо ждал чуда. Казалось, для того чтобы раскрылся наконец его глубоко запрятанный талант, с ним что-то должно произойти. Например, стоит ему только влюбиться, и... Или прочесть вот эту книгу. Или съездить в Суздаль. Конец ожиданиям положил один его проницательный сокурсник, который однажды на загородной вечеринке в споре сказал: «Слушай, Сараев, да ты просто не любишь кино!» Это прозвучало как кодовое слово для загипнотизированного, и на обратном пути, в электричке, он признался себе: да, он не любит кино. Более того: он человек не творческий, и, если уж начистоту, в необходимости что-то воображать, придумывать всегда находил что-то нестерпимо скучное, муторное. Даже стыдное. Тут было много упрямой горькой бравады отверженного, но еще больше правды. За этим последовал некоторый период растерянности, и обладай он хоть какой-нибудь склонностью хоть к чему-нибудь, он этим бы и занялся, но – увы. Деваться было некуда, идти в армию не хотелось, да и, что ни говори, в кино какие-то очевидные плюсы были. Что ж, решил он тогда, кинорежиссер такое же ремесло, как любое другое. И если этому учат, значит, этому можно научиться, и, значит, он этому научится. На том в какой-то момент и успокоился. Но вот когда он приехал в Одессу, ему пришлось всю свою холодную волю собрать в кулак. Надо сказать, его и раньше воротило от всей этой киношной ажитации, от вида десятков мельтешащих людей, свято уверенных в том, что они заняты чем-то в высшей степени значительным. Когда же он оказался в самом центре этой круговерти, дело и вовсе дошло до приступов дурноты и головной боли. Саму по себе каторгу еще и сопровождала неприязнь окружающих, сначала глухая, а потом и вполне явственная. Первую картину он еще кое-как отработал. Это был фильм по заказу министерства обороны. От сценария, написанного сыном какого-то военачальника, яростно отбивались все кто мог, и его всучили новичку из Москвы. В соответствии со своими принципами честного ремесленника Сараев покорно взялся за фильм и через три месяца уехал в экспедицию в город Ковров. По справедливости говоря, автором фильма правильной было бы назвать оператора и тоже дебютанта Дмитрия Корягина. Почти всю режиссерскую работу за Сараева делал он, в пылу съемок этого не замечая. Сараев только изредка

вмешивался, чтобы подправить реплики героев, – Корягин был совсем тугоух по этой части. Они почти ни на шаг не отступили от безнадежного во всех смыслах сценария, но фильм так прекрасно был снят, так хороши были портреты, так любовно был запечатлен каждый попавший в кадр предмет, что невозможно было оторвать глаз от экрана. Никаких этих достоинств на студии не заметили, но оценили исполнительность и добросовестность молодого режиссера. На полученные постановочные Сараев купил квартиру и братья за следующую работу не рвался. Тем более что Корягина уже пригласили на другую картину.

Вернувшись в Одессу, Сараев узнал о себе много нового. Ему приписали сразу два романа: с гримершей и с ассистенткой по актерам (слухи начали бродить по студии еще до экспедиции). Некоторое время была путаница с очередностью, пока кто-то не догадался объединить оба романа в один на троих. (Жену о том же оповестили письмами.) Это он еще как-то перетерпел. Каникулы продолжались недолго, и скоро ему вручили следующий безнадежный сценарий. На этот раз из школьной жизни. Фильм снимался в Одессе. Съёмки начались со сцен в цирке. И вот в самом их начале Сараев навсегда распрощался с кино. Терпение его кончилось, когда до него бережно донесли слух о его связи с актрисой-лилипуткой. Особенно смаковалась такая подробность: перед тем как ею овладеть, Сараев якобы наспех помыл ее в раковине под краном. Это была та убийственная деталь, что придавала правдоподобность всей выдумке. Сараев в считанные минуты оценил нехорошую перспективу пущенного слуха (слишком уж он был ярким) и, решив, что от этой истории, если он здесь останется, ему уже не отделаться, остановил съёмки и подал заявление об увольнении по собственному желанию. И чем бы он потом не занимался (а чем он только не занимался), он ни разу не пожалел о своем уходе.

VIII

Вечер поэзии

В «Виктории», куда Сараев спустился в третий раз за этот день, за одним столом с Вадимом сидела компания незнакомцев примерно того же, что и он, возраста: остриженный наголо круглоголовый молодчик в куртке армейского образца и с арабским платком на шее, затянутый в чёрную кожу платиновый блондин с геометрической косой чёлкой и совсем невыразительная на их фоне девица, уже порядком хмельная, то и дело удивленно чесавшая голову. Все трое приехали утром из Киева. Разговор о происшествии с помощником пришлось отложить.

– Сейчас идем в гости, – сказал Вадим.

– К кому?

– К одному поэту. Арбузов, знаете такого?

– Что-то слышал.

– Ну вот к нему. Будем слушать стихи. Это нужный визит. Потом объясню.

Вечер был теплый, и решили идти пешком. По дороге растянулись на квартал: впереди Вадим и девица с парнем в армейской куртке, за ними Сараев и далеко позади, то и дело прикладываясь к телефону и замедляя шаг, брел платиновый блондин, которого Вадим называл то Чумом, то Чумой. У поворота с улицы Толстого на Нежинскую блондин и вовсе остановился, разговоровившись с щуплым, дерганным прохожим. Почуввав иногороднего, тот сразу же принялся изображать легендарного одессита, старательно, на всю улицу, выпевая все эти «ой, я вас умоляю!» и «чтоб вы были здоровы!», и, казалось, не будет конца его арии, совершенно бессмысленной и закольцованно-монотонной, как та «китайская музыка», которую Сараев от нечего делать наигрывал в детстве, перебирая только чёрные клавиши пианино.

У входа в подворотню Сараев спросил:

– А не поздновато? Половина одиннадцатого.

– Нормально, – заверил Вадим. – Его и ночью подними – не откажется. Были бы уши. А у нас их аж пять пар. И каких! Вот Чум будет изображать культурного обозревателя из Москвы.

– У меня говор не московский, учти, – сказал Чум.

– А ты не говори, что москвич. Просто работаешь в Москве. Порадуй человека, что тебе стоит? А потом что-нибудь придумаем.

Их встретила немолодая пара: высокий благообразный бородач в белой рубашке, застегнутой под самое горло (Сараева эти застегнутые самые верхние пуговицы при отсутствии галстука почему-то всегда наводили на мысль о сектантах), и сильно накрашенная, крепко пахнувшая сандалом женщина, беспрерывно, как новогодняя ёлка во время землетрясения, звеневшая и гремевшая бусами, серьгами и наборными браслетами. От их нервозно-хлопотливого радушия сразу сделалось неловко, и если бы не самозванец Чум, с порога потянувший внимание на себя, Сараев совсем бы потерялся. Потолкавшись у вешалки, все, кроме жены поэта, прошли в кабинет, а вернее было бы сказать, набились в него, поскольку кабинет представлял собой крохотную комнатку без окон, раньше служившую, скорее всего, кладовкой.

Усадив гостей и заняв свое место за письменным столом с массивной лампой, поэт с отрешенной незрячей улыбкой перетрагал разложенные на столе листки, отпил чаю, и чтение началось. С первых же строк в многословных, особо не обремененных ни ритмом, ни размером виршах густо замелькали зеки, пайки, овчарки, вертухаи, бараки, переключки, караульные вышки, рубиновые кремлевские звезды на полярном небосклоне и прочие атрибуты лагерной жизни. Это было неожиданно. Вадим не обещал, что будет весело, но и к такому испытанию никто не был готов; даже как будто воздух загустел и потемнел от мрачного недоумения собрав-

шихся. Впрочем, уже само их присутствие в столь крайней тесноте в такой поздний час создавало иллюзию чрезвычайной важности происходящего, и для постороннего взгляда вполне могло сойти за встречу не на шутку изголодавшихся по поэзии слушателей, редких энтузиастов. Больше всех не повезло Сараеву, который оказался прямо напротив поэта, по другую сторону стола, то есть практически лицом к лицу. Многие стихи Арбузов помнил наизусть и, когда не смотрел в рукопись, упирался взглядом в своего визави. К тому же с первых минут чтения особенной мукой для Сараева было слышать неторопливый ход настенных часов, каждым сухим щелчком словно напоминавших: впереди вечность, дружок. Чтобы не свихнуться, отсчитывая нехотя уходящие мгновения, Сараев заставил себя сосредоточиться на поэзии. Со всей возможной усидчивостью, отмечая едва заметным кивком чуть ли не каждую строку, он выслушал одно за другим четыре долгих, тянущих в совокупности на поэму стихотворения. Когда же украдкой глянул на часы, то едва не вскрикнул от отчаяния – прошло семь минут. Больше Сараев стихов не слушал, и вся его внутренняя жизнь в конце концов свелась к трем простым, но жгучим желаниям: 1) власть начесаться в паху, 2) крепко, во весь рот и до хруста в затылке, зевнуть и, наконец, 3) сомкнуть веки. Это последнее вытеснило остальные и скоро набрало просто-таки чудовищную и еще продолжавшую расти силу. Сопrotивляясь ей, он без разбору цеплялся за все подряд: за стакан с чаем на столе, за загнутые кверху уголки желтых страниц, за караульные вышки, за самую верхнюю пуговицу на рубашке поэта, но все было напрасно – сместившийся центр тяжести глазных яблок упорно утягивал зрачки под лоб, и Сараеву подчас казалось, что он смотрит на поэта одними белками. Ухватившись на самом краю за спасительную мысль о том, что падением со стула он оконфузит хозяина не меньше, чем себя, Сараев дождался паузы между стихами и попросился в туалет. «Прямо, в конце коридора», – сказал Арбузов и объявил следующее стихотворение: «Колымский вальсок».

В чистенькой, пропахшей сандалом ванной комнате Сараев умыл лицо, сел на бортик ванны и выкурил сигарету; потом умылся еще раз и выкурил вторую. Задерживаться дольше показалось ему неприличным, и прежде всего перед своими несчастными спутниками.

Подойдя к двери и взявшись за ручку, Сараев услышал негромкую музыку. Фу, неужели закончилось, вздохнул он и весело дернул дверь. Взору его открылась большая светлая гостиная с дюжиной человек обоого пола за накрытым столом, которые дружно на него уставились. Сараев извинился. Кабинет поэта был следующим.

К его возвращению лагерный цикл сменили рифмованные жанровые сценки из окружающей повседневной жизни; попадались и довольно милые; в каморке как будто прибавилось воздуха, да и слушать стало веселее. Хотя сценки, надо сказать, были одна мрачнее другой. А когда, наконец, закончились и они, поэт встал и пригласил всех перейти в соседнюю комнату. Оказалось, что в этот вечер они с супругой праздновали годовщину свадьбы. Восторг заждавшихся за праздничным столом гостей соединился со встречной радостью отлучившихся слушателей, и гостиная сразу наполнилась торопливым шумным весельем, которое даже выплеснулось наружу пущенной кем-то с балкона в черное небо шутихой. Один за другим, чуть ли не с захлестом, зазвучали тосты, заиграла громче музыка. Весь вечер копившееся в душе Сараева раздражение на Вадима постепенно улеглось и, досыта наевшись и достаточно захмелев, он решил, что сейчас самое время завести разговор об обещанном еще неделю назад авансе. Не обнаружив продюсера за столом, он вышел на балкон. Кажется, собирался дождь, и воздух был наполнен пряной осенней духотой. Внизу сквозь легкий туман блестела влажная, оклеенная кленовыми листьями брусчатка. Было чудо как хорошо и спокойно. Вадима Сараев нашел в коридоре, возле кухни. Тот нахвалявал Арбузову его стихи. Поэт, смущенно улыбаясь и только что не жмурясь от удовольствия, кивал, шевелил в ответ губами, и Сараеву подумалось: вот выгащи сейчас Вадим из кармана нож (почему-то представился садовый, с широким кривым лезвием) и начни неторопливо, с толком и расстановкой, не переставая при этом сыпать похвалы, резать поэта – тот будет всё так же, только уже с ползущими наружу кишками,

стоять, кивать, улыбаться и бормотать благодарности. Сараев подошел и отвесил порцию приятностей от себя.

Гвоздем вечера, ближе к его концу, стал крепко выпивший Чума-Чум. Когда Сараев выбирался из-за стола на поиски продюсера, гости только начинали обсуждать последние мировые катаклизмы, а когда он вернулся, платиновый блондин уже сотрясал воздух гостиной обличительной речью. Финал ее был особенно ярок. «Разве мы сделали мир таким, какой он сейчас есть?! Нет. Это сделали вы. – При этом Чума обвел всех сидевших за столом указательным пальцем по часовой стрелке. – Разве это мы загадили все, что только можно было загадить? Испохабили землю, воду, воздух и уже даже космос?! Нет. Это всё ваших рук дело, – он опять повел пальцем. Пауза. – И это исключительно благодаря вам, друзья мои, – и он повел пальцем в третий раз, – мы все теперь барахтаемся в этом непроходимом дерьме. Только благодаря вам. Так что давайте не будем. На чернобыльской станции пидарасов не было!» Что послужило толчком к выступлению со столь страстным и нетривиальным финалом, Сараеву узнать не довелось, но, как и другие гости, он был немало впечатлен таким неожиданным поворотом никогда, впрочем, не интересовавшей его темы.

IX

Теория сновидений

Всё утро гудел, надрывался ревун. В густом тумане среди мокрой листвы Баден-Бадена темнела пара ворон.

Он был похож на газовщика со старой квартиры. Лицом. А назойливой вертлявостью напоминал спасателя Климова. Подошел, сел рядом, положил руку на плечо, быстро и весело заговорил. Речь была непонятной, больше похожей на щебетание, и сначала как будто только щекотала слух, но с каждой секундой становилась всё музыкальней, всё приятней, всё слаще. Вдруг он резко наклонился вперед, заглянул снизу в глаза и раскрыл рот, как на приеме у врача. Рот внутри оказался глубокой, узкой, полной белых острых зубов собачьей пастью.

На последних словах Сараев не слышал собственного шепота – только клейкое соприкосновение губ.

Опустив голову, он тяжело и протяжно вздохнул. В комнате было по-осеннему тихо и почти темно. А ведь это только начало, и впереди еще половина осени, потом необъятная зима... Вспомнилось, что во сне, на втором плане, вдоль высокой глухой стены бежала и кричала женщина. Что она кричала? «Бегущая женщина вдоль стены», – дошептал Сараев.

Такие краткие, внятные сны в последнее время стали редкостью. Снились теперь всё больше длинные, сумбурные, на подробный пересказ которых порой едва хватало сил и терпения. Прошлой ночью, например, целая уйма народу толпилась на веранде дачного домика, того самого, что несколько лет подряд они с женой снимали на 13-й станции Большого Фонтана. То и дело звонко стучала дверь и появлялось новое лицо, а каждый выходивший за порог тут же исчезал в сплошном, как туго перевязанный букет, цветущем саду. Среди прочих гостей на веранде оказалась нагая и мокрая, как утопленница, соседка Наташа. Она залезла к нему под одеяло и легла сверху – тяжелая, гладкая, холодная. Холодная снаружи и раскаленная внутри.

Был период в детстве, когда его чуть не каждую ночь сотрясали кошмары. Натерпевшись страху во сне, он и потом долго не мог успокоиться, мучаясь и буквально дрожа от предчувствия чего-то ужасного, что непременно должно было произойти теперь наяву. У матери, которая сама всю жизнь панически боялась вещей снов, а потому не любила никаких, была на этот счет своя замысловатая теория. Заключалась она в следующем. Вероятность исполнения любого сна возрастает многократно после того как его рассказали кому-то (всё равно кому), кто потом это исполнение сможет засвидетельствовать. Поэтому делиться приснившимся с кем бы то ни было нельзя ни в коем случае. Но и оставлять сны нерассказанными нежелательно. Во-первых, потому что они сохраняют вероятность быть рассказанными, а во-вторых, они тоже почему-то нередко сбываются. И только сны, рассказанные самому себе, то есть никому, гарантированно безопасны. Выговоренные даже еле слышным шепотом прочь, в никуда, они задыхаются, подобно выброшенной из воды рыбе, и лишаются вещи силы. С тех пор Сараев неукоснительно проговаривал всё, что хоть как-то поддавалось пересказу, вплоть до маловнятных и, казалось бы, безобидных фрагментов. «Что там в них кроется на самом деле, неизвестно, но в любом случае доброй эта неизвестность быть не может», – мудро рассудил он насчет последних. Часто потонувшее в утренних хлопотах сновидение выскакивало на поверхность посреди бела дня, и тогда Сараев начинал шевелить губами там, где оно его заставало. Если такой возможности не было, старался поточнее запомнить, чтобы прошептать в более подходящей обстановке. Бывало и так, что сны прошедшей ночи вспоминались в начале следующей, когда голова касалась подушки и мысли начинали путаться. Он начинал шептать, но хватало его обычно не надолго. (Кстати, во время запоев, когда сны шли стеной и причудливо мешались с реальностью, он их даже не пересказывал, а скорее – так получалось –

комментировал.) С годами этот иногда довольно обременительный ритуал превратился в привычку, но даже теперь, когда и бояться вроде бы было нечего, ему не приходило в голову от него избавиться. Впрочем, он никогда об этом и не задумывался. Только некоторое время после смерти жены его беспокоило сожаление, что он не рассказал ей о своей привычке, и мысль, что он так и уйдет из жизни, никому не открывшись, показалась ему странной и неприятной.

...Он еще не выпил ни капли, хотя, едва проснувшись, наведаясь в «Викторию». Вчера он таки выпросил у Вадима немного денег (взял на такси, а добрался домой пешком), и теперь пластиковая бутылка с двумя литрами крепленого «Славянского» стояла в кухне возле холодильника. Ввиду этого гнетущая похмельная тоска, не усугубленная заботами о выпивке, доставляла странное побочное удовольствие, а в невольных беззвучных подвываниях далекому маяку-ревуну было еще и какое-то теплое неясное злорадство. Сараев даже любил эти легкие, не грозившие запоями похмелья.

Один за другим на память приходили неприятные, по нарастающей, моменты вчерашнего вечера: азарт, с каким он набросился на еду; выпрошенные у Вадима якобы на такси деньги (до какого же жалкого вранья он опустился!); лживые комплименты, которые он накидал поэту вслед за Вадимом... Деграция была налицо. Но вот отчего бросало в пот, так это от неудавшейся (слава тебе, Господи!) попытки там же, в гостях как-нибудь половчее припрятать бутылку водки, чтобы уходя прихватить ее с собой. Сараев содрогнулся, представив, как его уличают в краже. Представил еще раз, и опять ужаснулся. И еще. Наконец, устыдившись сладострастия, с каким он гонял по кругу эту позорную сцену, прошел к холодильнику и выпил стакан вина. Чуть морщась, еще полстакана. Покурив, вернулся в комнату и включил «Телефункен». Ярko и празднично загорелась красно-желто-зеленая шкала, нехотя налился светом глазок с зелеными, нервно подрагивающими шторками, и с обстоятельной медлительностью комнату наполнили басовитые плавающие шумы, которые он так любил: хлопотливое бульканье, меланхолический свист, далекие завывания эфирной выюги... Он покрутил ручку настройки, наслаждаясь, как всегда, плавной тяжестью ее хода, и впустил в комнату сначала бархатный английский баритон, потом нашел музыку. Выпил еще полстакана. Мысли уже весело скакали от предмета к предмету. Вчерашняя попытка умыкнуть бутылку водки казалась теперь хоть и грубым, но достойным снисхождением забавным курьезом. О прочих неловкостях нечего и вспоминать. Те же комплименты поэту. Не так уж они были и лицемерны. Эти стихи в конце чтения были действительно довольно милы. Ну, хотя бы своей бесхитростностью. Он и сам мог бы написать парочку таких, в той же свободной манере. Надо просто подобрать какую-нибудь бытовую историю, зарифмовать, а в конце желательно присобачить какой-нибудь поворотец, подпустить что-то вроде легкого катарсиса. Стихи он, кроме как в юности, никогда не писал, но можно же и попробовать. Еще полстаканчика. Ну вот, например, как-то летом во дворе у Миши Сименса сосед пьяный ходил по двору, куражился, «я вас тут всех поразгоню к такой-то матери...», и всё такое. Как его звать-то, забыл... ну, пусть будет Петя... А – Степан! Вот так пусть и будет, как в жизни. Сам себе удивляясь, Сараев меньше чем за час соорудил стихотворение в... раз, два... четыре, шесть, семь... в двадцать восемь строк! На радостях он бросился к вешалке, нашел в кармане куртки визитку Арбузова и тут же, не отходя, набрал номер.

«Алло. Слушаю». – «Здравствуйте, это Сараев, вчера у вас был с Вадимом, режиссер...» – «Да-да-да, конечно, я вас помню. Как вы добрались вчера?» Сараев поблагодарил, перешел к комплиментам и опять наговорил их сверх всякой меры. «А вы знаете, я, кажется, разгадал секрет вашего мастерства, – игриво продолжил он. – Так что берегитесь, у вас появился грозный соперник. Хочу вам почитать, что у меня тут на скорую руку получилось:

Снова который день куролесит, шумит во дворе сосед Степан
Смотрит волком на всех, слова ему не скажи поперек

Покуражится, отлежится, примет на грудь стакан
И по новой бузить, пока опять не свалится с ног.

Сколько вокруг глаз завидующих, рук загребущих и злых сердец!
Трудно дышится в мире где правят трусость, подлость, обман.
Здесь задыхались и прадед Степана, и дед его, и отец.
Оттого-то и пили всю жизнь. Оттого-то и пьет Степан.

Ходит и ходит, бьет палкой в стены, кого-то зовет на бой
Рубашку в кулак у горла зажмет и кричит на весь двор
Эй! Что вы там попритихли?..»

На этом месте из трубки побежали короткие гудки. Сараев отнял от уха телефон и повторил звонок. Поэт не отвечал. Сараев сконфуженно потер лоб. Хм. Кажется, он сказал лишнее, допустил некоторую бестактность в преамбуле. Как-то нехорошо вышло. Эх, жаль... Оставалось еще четыре куплета. В тот же день в уличной драке Степан находил свою смерть и беззлюбные соседи устраивали в складчину ему поминки во дворе, в которых принимали участие не только люди, взрослые и дети, но и вся дворовая живность: собаки, кошки, голуби, воробьи и даже муравьи. Все остались сыты и довольны, а с небес на них смотрел наконец подобревший Степан. Довольно трогательно получилось. Жаль. А впрочем, ну и ладно. Сараев выпил ещё стакан, и озабоченность как рукой сняло. Крутить ручку приёмника ему надоело. Он поставил на проигрыватель пластинку «Пер Гюнт», еще раз приложился к вину, и на «Пещере горного короля» был уже настолько хорош, что стоял посреди комнаты и яростно размахивал руками...

За такие всплески беспричинного веселья приходилось расплачиваться накатом дикой нестерпимой тоски. А иногда кое-чем и похлеще. Посреди ночи Сараев проснулся и долго сидел, по-мусульмански держа на коленях раскрытые ладони. Потом приложил их к глазам, опустил лицо.

Х Ночами

Мальчик остался в прошлом тысячелетии. Его от рождения никудашное сердце остановилось за три недели до Нового 2000-го года где-то в небе между Одессой и Москвой. В последний год жена уже была сама не своя, и чуть что везла его к московским врачам; в тот раз они летели, и он умер в самолете у нее на руках. За несколько дней до этого Сараев застал сына у себя в комнате. Разглядывая приобретенный накануне приёмник (вот этот самый «Телефункен 8001», что стоял теперь на комод), мальчик осторожно водил пальцем по его шкале, панели, эбонитовым ручкам и алюминиевым ребрам декора. А когда обернулся на звук шагов, в спокойном и печальном его взгляде Сараеву почудилось что-то особенное, никогда прежде не виденное.

В этом, с некоторых пор главном, воспоминании о мальчике (остальные ютились по краям, подобно иконным клеймам), умещалась вся история его ни на что не похожего отцовства. А впрочем, почему же «ни на что не похожего»? Вот точно так кошка, уразумев однажды, что ее заболевшему котенку уже не оклематься, перестает его замечать и равнодушно проходит мимо, даже если тот продолжает шевелиться и пищать. Отшатнувшись от мальчика сразу же, как только стало известно, что тот не жилец, Сараев старался к нему больше не приближаться. Достаточно было вспомнить, как он деревенел, когда приходилось брать сына на руки или сажать на колени, да просто когда держал в руке его ледяную ладошку. В том же оцепенении, в постоянной судороге сдержанности он провел все шесть отпущенных мальчику лет... Нет, стоп! – останавливал себя Сараев. Ну, чушь же, чушь! Чудовищная напраслина, возведенная им на себя самого. А началось всё с сожаления, что мальчик выжил, не родился мертвым, мелькнувшего несколько раз в те дни, когда стал известен диагноз. Этим сожалением он буквально извел, затравил себя после смерти сына. Вот откуда выросли потом и приобрели такую силу все фантазии об «одеревенении», «сдержанности», о страхе привязаться к обреченному, и проч. В минуты слабости их художественная, будь она неладна, правда неизменно оказывалась упрямей и убедительней фактов. Хотел бы он знать, как работал этот фокус, каким образом его шестилетнее горькое отцовство отменялось случайным сожалением и целиком к нему сводилось? Как он мог вновь и вновь поддаваться наваждению, в котором вполне отдавал себе отчет?

Наутро после похорон жена собрала вещи (в том числе все до единой фотографии) и ушла к матери. Следующие три года, до самой своей гибели, она не хотела ни видаться, ни разговаривать с ним. Удар машиной на перекрестке возле Михайловской площади – что она там делала поздно вечером? – только довершил ее отсутствие, навсегда оставив в том же прошлом тысячелетии. Тогда-то все и началось. За три года, пока они жили врозь, Сараев в чем только себя не обвинял, как только не оговаривал! Но пока была жива жена, жила и надежда, что когда-нибудь она опомнится, вернется и снимет с него этот груз. И вот после ее смерти он остался один на один со всем тем, что на себя взвалил. Но если раньше это была какая-то размытая вина, то теперь, день ото дня, а вернее ночь за ночью, ему обозначали ее контуры. Начинали, подступая как с ножом к горлу, с вопроса: ждал он смерти сына или нет? С тем, чтобы тут же торопливо передернуть: если знал, что это рано или поздно произойдет, и был готов, то уж, естественно, ждал. А если ждал, то уж, наверное, и желал. Тут ведь трудно отличить одно от другого. Нет, конечно, до прямого ясно выраженного желания у тебя дело не доходило, но ведь и привязываться в таком случае не имело смысла, ведь так? Вот мы и вернулись, сделав обязательный круг, к сдержанности и одеревенению. Где же тут чушь и напраслина? И что ж тут удивительного, что, насмотревшись на всё это, жена не захотела больше тебя

видеть. А дальше, пока Сараев растерянно путался в оправданиях, тот же злой закадровый голос переходил на следующий виток обвинений и, вернувшись к сцене возле «Телефункена», с которой всё и начиналось, с новой высоты растолковывал ее настоящий смысл: так вот, главная твоя вина вовсе не в том, что ты отчего-то там себя трепетно все эти шесть лет оберегал (вот опять: как будто это уже был вопрос решенный!), а в том, что ты своей отстраненностью не позволял приближаться к тебе, день за днем обделяя и без того обделенного. И картинка с приёмником становится каждый раз в центре не случайно. К тому времени ты ведь почти привык к этому: видеть в вопрошающем осторожном взгляде сына некоторое виноватое ожидание. Он всё как будто ждал от тебя разрешения на свое сыновство и просил, на всякий случай, прощения за вину, которой не понимал (вот точно так, как ты потом не понимал своей вины перед женой). А вот в тот день, в ту минуту, когда он стоял у приёмника, впервые ничего этого не было. И знаешь почему? Предчувствуя свою близкую смерть, мальчик просто понял, что за то малое время, что ему оставалось, ничего не изменится. В его глазах была печаль ребенка, смирившегося с тем, что ожидания его напрасны, прощения не будет и ближе ты уже не станешь, – вот что ты тогда увидел, что тебя поразило и что тебя до сих пор мучает.

...заканчивалось и начиналось сызнова, крутилось и крутилось, и крутилось, и крутилось, превращаясь в горячечный безумный диалог такого накала, что Сараев хватался за голову и закрывал уши...

Только начав пить, он на некоторое время перестал оправдываться и просто стал плакать. Оплакивать сына, жену, себя. Ему так тогда и казалось: он будет пить-плакать-пить-плакать-пить-плакать-пить... пока водка не убьет его совсем. Но кабы водка просто убивала. Скоро всё вернулось с еще большей силой. А потом еще кое-что и добавилось. Сначала появились звуки: он просыпался или приходил в себя, и вот они во всём своем множестве и разнообразии – и те, что приходили с улицы, и те, что жили в ночной тишине квартиры, и те, что рождались в голове, – скрупулезно, во всех наимельчайших подробностях принимались воссоздавать короткую жизнь мальчика. Логика, в какой они подбирались, была железной. Каждый звук отсылал к какому-нибудь воспоминанию о сыне, и все они выстраивались в строгой последовательности от его рождения до самого последнего дня. Это нельзя было остановить ни водкой, ни зажиманием ушей. Непрерывно поступающие отовсюду щелчки, потрескивания, шорохи неумолимо делали свое дело, карабкаясь друг на дружку, продолжая безостановочное упрямое строительство, финальным аккордом которого был утренний звук пролетающего над городом самолета. И всё время, пока длилась звуковая дорожка короткой жизни, мальчик находился рядом, стоял, опустив голову, в кухне. О его молчаливом присутствии по ночам Сараев сначала только догадывался, но однажды, бросив случайный взгляд на пол возле входной двери, обнаружил небольшое пятно. Краска на полу в этом месте показалась ему как будто вытертой, и вот он уже гадал, может ли невещественное оставлять вещественный след, и перебирал в памяти обувь сына. (Может быть, это был тот самый случай – пропущенный, невыговоренный сон? Как еще объяснить, что всё это происходило на новой квартире, в новых стенах?) Тут-то и начался самый главный его ад. Пятно он уже видел почти постоянно, и теперь ждал, что как-нибудь откроет глаза и увидит перед собой мальчика. Страх перед этим появлением, постепенное и неумолимое превращение мальчика в угрозу – вот что Сараева пугало больше всего и чего никак нельзя было допустить. (А может быть, с этого страха всё и началось? Да он уже и сам отказывался понимать, где тут было начало, а где продолжение!) Представив, что ждёт его дальше, Сараев стал всё чаще задумываться: а не позаботиться ли ему о своем будущем безумии, если уж оно неизбежно, заранее? Не идти покорно на поводу, а самому начать его как-то обустроить? И когда Фонарёв-Кирпичников к известию о списке лучших фильмов приложил дружеский совет воспользоваться ситуацией и вернуться в кино, Сараев сразу же подумал: вот оно, спасение. Против фантома в кухне он выставит своего воскрешенного, воплощенного на пленке сына. Он не один раз обещал свозить его в Беспечную и, с удовольствием переби-

рая свои детские впечатления, подробно рассказывал, что ему там предстоит увидеть. Пришло время обещание выполнить. Из общего хронометража фильма, который ему доведется (если доведется) снимать, Сараев предполагал выкроить минут двадцать, а то и все полчаса. Даже с учетом, что это будет детство главного героя, к которому тот постоянно возвращается, – получалось многовато. Но главная трудность будет заключаться в том, что, даже отсняв задуманное, придется и основную работу-прикрытие, то есть весь большой фильм во что бы то ни стало доводить до конца, чтобы обеспечить свой фрагмент достойными монтажом, звуком и шумами. И еще: надо было поторапливаться, потому что, как это обычно бывает, вдогонку спасительному решению откуда-то (то ли со стороны кухни, то ли из недр его воспаленного мозга) пришло одно обязательное условие – с ним останется тот из мальчиков, кого он увидит первым.

XI Гости

За день Сараев так набегался по некоторым своим делам, что уже в начале десятого вечера, сразу после стакана «Изабеллы», которым он запил банку консервированной фасоли, у него стали слипаться глаза. И это было очень кстати: появилась возможность поменять режим. Дни стояли один в один, и так хорошо было пить по утрам на балконе кофе, щурясь и прячась за поредевшей листвой от блестящего солнца, а потом курить, положив запястья на горячие перила, что только ради этого стоило подниматься раньше.

Сараев уже расстелил, зевая, постель, как к нему постучали. Дверь была еще не заперта, и он крикнул: «Войдите!» Никого не дождавшись, пошел открывать.

На пороге стояла пара: невысокий мужчина в твидовом пиджаке, совершенно лысый, с пышными усами и миниатюрная седая женщина в чёрной вязаной шали поверх свитера.

– Вы Сараев? – спросил мужчина.

– Да.

– Кинорежиссер?

– Да, – повторил Сараев, отметив про себя, как часто в последнее время ему приходится отвечать на эти два вопроса.

– Меня зовут Роман. Моя супруга Соня. Нам надо с вами поговорить.

Сараев провел их в комнату, предложил сесть. Женщина выбрала место за столом, а мужчина, опираясь на палку, остался стоять посреди комнаты рядом с выдвинутым стулом. Его правый, громоздкий, ботинок бросался в глаза и казался более начищенным, чем левый. При небольшом росте и скромном телосложении гость держался осанисто, с некоторым вызовом, как это часто бывает у людей с физическими недостатками. Плотные широкие усы и густо сросшиеся на переносице брови придавали его лицу выражение хмурой, а то и грозной сосредоточенности. Женщина сидела, опустив глаза, подтянув к носу ворот свитера.

Наконец взгляд Романа, побродив по комнате, остановился на Сараеве. Тот в ответ улыбнулся, развел руки и с некоторой надеждой спросил:

– Извините, но никак не могу угадать: у нас есть общие знакомые?

Роман, дернув борт пиджака, сурово покачал головой.

– Нет. Никаких знакомых, – ответил он. – Хотя как знать. Одесса не такой уж большой город, если поискать, может, и найдутся. Но на данный момент таких не знаю.

Сараев при их появлении растерялся, а теперь и всерьез забеспокоился. Если не сказать, запаниковал. И было от чего. Похожая на школьных учителей пара – где и при каких обстоятельствах он мог с ними познакомиться (ну, не в винном же подвале)? и в каком же он был тогда состоянии, если абсолютно их не помнил? Как вообще они могли с ним, в таком состоянии, знакомиться? Ну, допустим. Главное: что такого он наболтал или, хуже того, натворил, если они решили его отыскать и вот нашли? И – кстати! – когда это могло быть? В последний раз до такой степени, когда из памяти вылетают целые недели, он напивался месяцев девять назад. Выходит, всё это время они его искали?! Боже, что же это было?

Сараев почесал голову и сказал:

– Ну, тогда я сразу сдаюсь. Не могу даже представить...

– А мы вам поможем, хотите? Я вам назову пароль, и вы сразу всё поймёте, – предложил гость.

– Давайте, – бодро кивнул Сараев и приготовился к самому худшему (в эту минуту это была долговая расписка на гигантскую сумму).

– А вы мне – отзыв, – кивнул в ответ Роман.

- А я его знаю? – удивился Сараев.
- Конечно. Не может такого быть, чтобы не знали.
- Даже так? Хорошо. Тогда давайте ваш пароль.
- Эмиль Бардем.
- Как?
- Э-миль Бар-дем.

Сараев сделал вид, что пытается вспомнить, хотя вспоминать ему, судя по гулкой пустоте сразу же возникшей за незнакомым именем, было решительно нечего, так что и пробовать не имело смысла. Только и оставалось, что пожать плечами.

- Нет? – с насмешливым удивлением спросил Роман.

Сараев покачал головой.

- Совсем?
- Абсолютно.

– А, ну да! – усмехнувшись, сказал Роман. – Понимаю. С вашим подходом на такую мелочь можно и не обратить внимания. Подумаешь!

Несколько секунд они молча глядели друг на друга.

- Он иностранец? – спросил, наконец, Сараев.

– Нет. Из местных. Да и какая разница, если вы его, как утверждаете, абсолютно не помните.

– Может быть, вы мне просто скажете мой отзыв, раз уж такое дело... – предложил Сараев и услышал в ответ:

- Хорошо. Отзыв. Поющий лук.
- Это то, что я должен был вам ответить? – уточнил Сараев.
- Совершенно верно, – подтвердил Роман и повернулся к жене, – я тебя предупреждал. Жена, глубоко вздохнув, еще выше подтянула ворот свитера и отвернулась к стене.
- Поющий лук... – растерянно протянул Сараев. – Нет. Впервые слышу. – И, поеживаясь, со смущенной улыбкой и вымученной игривостью добавил: – Вы меня начинаете пугать. Думаю: а вдруг я куда-то нечаянно завербовался?..

Сараев перевел взгляд с Романа на его жену, с одного каменного лица на другое, и обратно.

– Даже интересно, как долго вы будете валять дурака, пытаясь выставить идиотами нас, – произнес Роман. – Я вообще-то предполагал что-то в таком роде, но чтобы вот так – «не знаю, не слышал, не понимаю»... Нет, такого не ожидал.

- Я не понимаю, о чем вы...
- Вот как раз об этом.

Сараева не на шутку раздражала затянувшаяся викторина, а вместе с тем он не так уж спешил услышать разгадку, опасаясь, что за всей уже услышанной белибердой кроется и вот с минуты на минуту откроется какая-нибудь такая ужасная гадость, о которой ему лучше бы никогда ничего не знать.

– Противно всё это видеть, просто противно, – сказал Роман и брезгливо сморщился; усы его при этом взъерошено приподнялись.

– Послушайте... Извините меня, пожалуйста... – Сараев приложил ладонь к груди. – Я иногда бывал пьян, иногда сильно, очень сильно. Такого давно, правда, не было. Но когда такое случалось, некоторые вещи и события проходили как будто мимо меня...

- Это событие мимо вас еще не прошло. Не будем забегать вперед.

– Хорошо, по-вашему, оно, может быть, еще не прошло, ладно, пусть так, но... вот вы сказали: поющий лук. Я, конечно, понимаю, что это какое-то название чего-то, и я сразу должен что-то вспомнить, но у меня в голове одни только стрелы, колчаны, индейцы и Вильгельм Тель. Всё. Если, конечно, это вообще не растение... лук репчатый, порей или какой он там

еще бывает... хотя с чего бы ему петь? Если вы хотите, чтобы я что-то понял – перестаньте, пожалуйста, говорить загадками.

– Очень остроумно. То есть вы как бы настолько не в теме, что даже лук с лугом путаете! Какая дьявольская изобретательность! Просто браво.

– А, так это поющий луг! – обрадовался Сараев. – Поляна! Ну, так...

– Да-да, поющий луг. Именно. Людмила, Ульяна, Григорий. Наконец-то мы вспомнили! Самому-то не смешно? Взрослый человек...

– Поющий луг, – повторил, кивая, Сараев. Обрадовался он, впрочем, лишь уточнению и тому, что новая версия, в сравнении с предыдущей, больше походила на название какой-нибудь бodeги. Только и всего. Он быстро перебрал в памяти все официальные и народные названия заведений, в которых выпивал последние год-полтора – «Таировские вина» в Малом переулке, «Лунный свет» на Пастера, «Сердце тьмы» у Привоза и еще с полдюжины других, – и через минуту опять беспомощно уставился на Романа. – И что там, в этом луге произошло? Напомните, пожалуйста... И где он находится? Я что-то не могу вспомнить...

Роман, жуя губы и шевеля усами, мрачно глядел на Сараева.

– Роман, ну все же ясно, – подала голос жена. – Он просто издевается.

– Да. Яснее некуда. Идем отсюда, – не оборачиваясь, отозвался Роман. Подкинув и перехватив посередине палку, потрясая ею, он обратился к Сараеву: – Напрасно вы так с нами, ей-богу, напрасно. Как бы вам не пожалеть. Думаете, управу на вас не найдем? Очень ошибаетесь! Не стоит обманываться нашим внешним видом. Вы ничего о нас не знаете. Есть вещи, за которые я готов пойти на что угодно! Так что имейте в виду, если мы обнаружим, если только заметим у вас что-нибудь наше, пеняйте на себя! Вот только попробуйте! И все причастные за это тоже ответят. Но вы в первую очередь! Потому что вы негодяй и мошенник! Соня, пошли!

Он отвернулся, взял жену под руку, и они направились к выходу.

– Да кто вы такие, в конце концов?! – воскликнул Сараев.

– Скоро узнаете, кто мы такие. Мало не покажется. Откройте дверь.

Сараев их быстро обошел и преградил путь.

– Стойте. Я хочу, чтобы вы мне сейчас же объяснили, что всё это значит. А то наговорили какой-то загадочной чепухи, оскорбили и уходите. Я хочу знать.

– Что именно? – строго спросил Роман.

– Всё. С самого начала. Хотя бы с вашего дурацкого пароля. Повторите его, пожалуйста.

– Роман, пошли, – сказала Соня. – Тошнит...

– Повторите пароль! – потребовал Сараев.

– Эмиль Бардем, – сказал Роман.

– Так вот. Никакого Эмиля Бардема я не знаю, – сказал Сараев. – И никогда не слышал этого имени. Кто это? И почему вы решили, что я его должен знать?

– Эмиль Бардем это мы. Я и Соня.

Не успел изумленный ответом Сараев попенять себе, что вот только потому, что ему правильно называют его фамилию и профессию, он свободно впускает к себе в дом на ночь глядя двух сумасшедших, как Роман добавил:

– Это наш псевдоним.

– В каком смысле?!

– В самом прямом!!! А «Поющий луг» наш сценарий, который вот уже полгода лежит у вас! И пришли мы к вам, собственно, чтобы от вас услышать: во-первых, что с ним происходит, во-вторых, почему мы об этом ничего не знаем, и в-третьих, долго ли еще будет продолжаться это безобразие! Ну что? Вы и теперь будете изображать полное неведение?! Вы ведь всё это знаете! Мы пришли к вам, как равные к равному, а вы заставляете нас унижаться и ломать вместе с вами комедию! Совесть у вас есть?!

– Какой «ваш» сценарий? О чем вообще речь? Вы ничего не путаете?

– Мы ничего и никого не путаем. Откройте. Будем разбираться с вами по-другому.

– Черт! – воскликнул Сараев. – Пойдите! Я, кажется, понял. Всё-всё-всё! Я понял. Понял. Ну, конечно! – Сараев закивал, а супруги презрительно усмехнулись. – Вы, наверное, говорите о тех сценариях, которые Вадим взял на киностудии...

– Я не знаю ни о каких «тех сценариях», и говорю исключительно о нашем. И понятия не имею, кто такой Вадим, – отчеканил Роман.

– Вадим это продюсер.

– Может быть. И что?

– Вадим, мой продюсер, принес со студии пять сценариев... они какие-то там старые приятели с редактором... ну, не важно. И вот ваш сценарий, очевидно, среди этих пяти. Сейчас я посмотрю. Вы меня просто сбили с толку, когда сказали, что они у меня полгода. На самом деле Вадим их принес недавно. Да вот я прямо сейчас вам его отдам, если он здесь.

Сараев бросился к секретеру, стал искать ключ от столешницы.

– У нас другие сведения, – сказал ему в спину Роман.

– Ну, тогда может быть какая-то ошибка, – говорил Сараев, переключаясь на полке в поисках ключа предметы с места на место. – Может быть, до Вадима они лежали еще у кого-то. Но я не договорил главного. Я их даже еще не смотрел, и поэтому не знаю, о каком сценарии вы говорите. Я ни одного из них не читал, понимаете? Отсюда и недоразумение.

– И как это можно проверить? – спросил Роман.

– Проверить? – удивился Сараев. – Что вы хотите проверить? Читал ли я? Я же говорю: нет, не читал. Как это проверить, не знаю. Да и зачем мне врать? – Сараев наконец нашел ключ, откинул на себя столешницу и вытащил кипу бумаг. – Вот, смотрим. Так, это не то, не то, не то, не то... О! Вот, пожалуйста. Точно. Эмиль Бардем. «Поющий луг». Ваш сценарий. – И с этими словами он протянул Роману рукопись.

Гости переглянулись. Роман взял сценарий.

– И что? Мы, кажется, и не сомневались, что он лежит у вас, – сказал он. – Как раз об этом мы и говорим. И теперь, после всего, оказывается, что он всё-таки у вас, но вы его не читали. Как я могу быть уверен, что вы его не читали?

– Не знаю. И не совсем понимаю претензии. Вы категорически против того, чтобы я его читал?

Романа вопрос озадачил, а у Сараева наконец отлегло от сердца.

– Не надо передергивать. Я не против, чтобы его читали. Я против того, чтобы от меня скрывали этот факт, – подумав, сказал Роман. – Вы хотите сказать, что вы его даже не открывали?

– А я так и говорю. Вадим их принес. Я при нем, вот как они были стопкой, положил их сюда, закрыл и всё. Забыл.

– Мы вам не верим.

– Хорошо, не верьте. Что я могу еще сказать? Но все равно интересно: для чего бы мне от вас скрывать, что я его читал? И что было бы, если б я его прочитал? Ведь он для этого, кажется, и предназначен. Может быть, объясните?

– А вы подумайте.

Сараев молча поднял и опустил плечи.

– Ладно, хорошо, – согласился Роман. – Допустим, вы не читали. А вы не думали, что пока он лежит тут у вас мертвым грузом, его всё это время мог бы читать кто-то другой?

– Честно говоря, нет. Да он и лежит-то недели три, с конца сентября. С чего вы взяли, что он у меня полгода?

– Ну мы же не выдумали это! Мне сказал редактор. Я его встречаю, спрашиваю, что со сценарием, а он говорит: да вот, Сараев читает. Спрашиваю: давно? Говорит: полгода где-то. Я не должен был ему верить?

– Он, может быть, пьяный был? – предположил Сараев.

– Не знаю. Он всегда тепленький. Я его другим не видел.

Помолчали.

– В общем, если вам нужен ваш сценарий, то вот он, можете забирать. Я только позвоню продюсеру, – сказал Сараев.

– Постойте, – остановил его гость. – Наверное, нас действительно неверно информировали. И если вы действительно не читали, то зачем же мы будем у вас его забирать. Я присяду?

– Да, конечно.

Роман вернулся и сел на стул. Выставив вперед протез, он достал носовой платок и высморкался. Соня осталась стоять. Сараев опустил на диван.

– Да, скорее всего тут какая-то ошибка, – проговорил Роман, пряча платок. – Сейчас же никто не церемонится. Кто-то дает, кто-то берет, кто хочет – читает. А потом обнаруживаешь у кого-то свои диалоги или сюжетные ходы...

– С вами уже такое было?

– Какая разница! С другими было.

Они еще раз, но уже коротко высказались по поводу недоразумения, и окончательно решено было оставить сценарий у Сараева. Они одновременно поднялись.

– Только вы не прячьте его так далеко, оставьте где-нибудь на виду, – попросил Роман. – Согласитесь, если бы вы вовремя прочитали рукопись, не было бы всего этого. Согласитесь.

Сараев согласился

– А что там за история? – поинтересовался он. – Ну, хотя бы в каком жанре?

– Мистический детектив. Если коротко, ритуальное убийство на фестивале бардовской песни.

– Неожиданное сочетание.

– В том-то и дело. Кроме того... – Роман, оглянувшись, почему-то понизил голос. – Дело еще в том, что, если бы дошло до съемок, мы с Соней могли бы выступить и консультантами, поскольку долгое время вращались в этих кругах. А без консультантов там нельзя – очень специфическая публика, особые отношения, своя атмосфера, аура... ну и все остальное.

– Да, наверное это имеет смысл. Я вот, например, совершенно не знаком. А вы тоже из них, да? Ну, из этих... – Сараев, поболтав кистью, изобразил брэнчание на гитаре.

Романа, кажется, покорило его жест.

– Вы что-то имеете против авторской песни? – сказал он.

– Нет, что вы! – поспешил возразить Сараев. – Я в ней ничего не понимаю. Никогда не увлекался.

Роман вздохнул.

– Ну а мы когда-то только этим и жили. Не в смысле заработка, конечно. Исполняли песни на мои тексты. Соня на гитаре.

– Понятно. Нет, меня это как-то не коснулось. Вы вот только что сказали: ритуальное убийство на бардовском конкурсе...

– Фестивале.

– Да, фестивале, прошу прощения. А какое там может быть ритуальное убийство? На таком фестивале? Кого-то убили гитарой? Извините. Просто ничего другого в голову не приходит.

– Почему гитарой? Удалили струной.

– Ах, так! Да, любопытно...

– Главное, что вся эта тема еще никем не раскрыта, и, как нам кажется, потенциальных зрителей, даже если брать только тех, кто к этому делу напрямую имеет отношение, очень много. То есть кассовый успех мог бы быть обеспечен.

– Да, сейчас такие вещи желательно просчитывать заранее, – говорил Сараев, соглашаясь уже из вежливости. Ему не терпелось побыстрее выпроводить гостей, выпить еще стакан вина и завалиться спать. Он дал Роману визитку со своим номером телефона и открыл перед супругами дверь. Некоторое время он колебался: не сказать ли этим Бардемам, или как их там называть, сразу, что читать их сценарий он ни в коем разе не станет. Но испугавшись, что признание может затянуть встречу еще не меньше чем на четверть часа, а то и послужит поводом для новых препирательств, удержался. Нет. На сегодня хватит.

Соня вышла первой, а Роман задержался пожать Сараеву руку:

– Извините, что без скандала, – грустно улыбаясь, пошутил он. – Будем ждать и надеяться, что вам понравится.

– Стопроцентной гарантии я вам, конечно...

– Разумеется!

Напоследок Сараев не удержался, спросил:

– Извините, еще один вопрос. А этот ваш псевдоним, Эмиль Бардем, он откуда, если не секрет? Это что, какой-то известный герой или вы сами придумали? Просто интересно.

– Бардем? Ну... – Роман пожал плечами. – Бардовская песня. Барды. Отсюда и Бардем. Я же говорю, мы отдали этому много лет жизни. Лучшие годы, как говорится. Долгое время и сами активно участвовали, пока вот у Сони не стала сохнуть рука... А Эмиль в честь Гилельса, – добавил он и, кивнув, вышел.

Сараев потянулся закрыть за ним дверь, как вдруг со стороны лестницы раздался веселый голос:

– Одни гости за порог, другие у порога!

Сараев вздрогнул. Вот и лег пораньше.

XII

Братья Сараевы

Из темноты (в коридоре за это время успела перегореть лампочка) вынырнул Прохор и, как-то блудливо заглядывая в глаза, покачал у Сараева перед лицом, держа сверху за горлышко, бутылкой коньяка. Что-то в нем было от тертого ловеласа, который наконец выбрал момент нанести очередной избраннице решающий визит, взять, как говорится, быка за рога. Ничего хорошего это не обещало.

– А кто от тебя вышел? – спросил он.

Сараев коротко, без подробностей, рассказал.

– Надо же. А сценарий ты почитай, там могут такие перлы обнаружиться!.. С другой стороны: может быть, это и есть те самые неподкупные герои, о которых я говорил? Я тогда не в меру разошелся, извини. Хотя этот вопрос для меня все равно остается неясным. Я имею в виду: что изменилось? Давай, неси рюмки.

Разливая (Сараев невольно отметил, что бутылка не полная, а запах коньяка в квартире появился еще до ее открытия), Прохор скороговоркой повторно извинился за последнюю встречу, что насторожило Сараева еще больше: его гость был не из тех, что раскаиваются или хотя бы признают свою неправоту.

– В общем, ходю к тебе сегодня косяком. Потому что я ведь тоже, как ты наверное догадываешься, по делу. Давай, за встречу!

Опрокинув рюмку. Прохор упал грудью на сложенные на столе руки и, вытянув шею, радостно сказал:

– Рассказывай! Что там у тебя с кино? Только как на духу.

Сараев стал рассказывать, не переставая ни на минуту ощущать неловкость за взятый Прохором с порога столь ему несвойственный тон теплого дружеского участия, за его кое-как напыленную и не на те пуговицы застегнутую бодрую веселость. Прохор слушал, кивал и лучезарно поглядывал на Сараева.

– Давай повторим, и я тебя слегка огорошу. Или не слегка. Как получится, – сказал Прохор, не дослушав.

Выпив, он кашлянул в кулак и продолжил:

– Вот о чем я последнее время думал и что я тебе скажу: а почему бы нам с тобой вместе не поработать?

– У тебя тоже сценарий?

– Сценарий мы с тобой напишем, – отмахнулся Прохор. – Это я всё обдумал. Украинский заробитчанин в Москве. Как тебе такое? Материала выше крыши. У меня и источник под рукой. Такое хождение по мукам устроим – камни прослезятся. Пойдет на ура, гарантирую. Причем везде: и здесь, и на Западе. Да и в России – там любят, когда их лишний раз мордой в дерьмецо макнут. Еще и деньги на следующий фильм дадут. О, ляхов можно подключить, – он показал ладонью на приёмник, где тихую вечернюю музыку незаметно сменил польский проповедник. – Можно сделать отличное кассовое кино.

Сараев покачал головой.

– Нет. Я тут пас. Не умею ничего придумывать. А все, что ни придумываю, кажется отвратительным. Ты же знаешь. Хочешь – пиши. Только, сам понимаешь, гарантий я никаких дать не могу. Ну и мнение Вадима, конечно, тоже будет иметь значение.

– Вадим это кто?

– Продюсер.

– Ладно. С ним тоже сейчас разберемся. А теперь главное. Готов?

Сараев пожал плечами и поднялся, чтобы выключить приемник.

– Тебе нужен сорежиссер.

Сараев замер. От стыда по всему его телу мгновенно разлился жар, как после укола магнетизма.

– Ну что, ну что, Андрюха? – захопотал Прохор. – Ну чего тебя сразу так перекошило-то?

– Ты имеешь в виду: вместе снимать? – спросил Сараев, и ему стало тошно от мысли, что, кажется, и сегодня всё закончится скандалом.

– Да, я имею в виду вместе снимать! – передразнил Прохор. – А почему нет? Слушай, ну ты ведь честный человек. Ты вообще представлял себе, как ты встанешь за камеру? Сколько с тебя потов сойдет, прежде чем ты проблеешь: «Мотор». Тебе это, наверное, в кошмарах снится. Я ж тебя знаю. А в кино ты когда последний раз был? Не помнишь? А я постоянно держу руку на пульсе. Ну скажи, что я не прав. Короче говоря, я, если ты ещё не понял, твое единственное спасение. Главное, чтобы это понял ты. Назовемся братьями Сараевыми, если хочешь... Я думаю, если ты твердо поставишь своего Вадима перед фактом, он никуда не денется. Хочешь, я это сделаю? Ну что ты как девочка!.. Андрюха! – он вскочил, подошел, поймал ладонью затылок Сараева и притянул его голову к себе, так что они коснулись лбами. – Всё в наших руках! Есть и будет! Давай, звони, звони.

Сараев был в отчаянии. Дорого ему обошелся его неосторожный визит к Прохору. Нет, неправильно. Тот визит как раз был очень кстати. Это был подарок судьбы, которым, будь он поумней, можно было бы сейчас прекрасно воспользоваться. После сцены в подворотне с метанием рюкзака он имел полное право не то что не слушать Прохора, а сразу же с порога дать ему от ворот поворот. Упустить такую прекрасную возможность! Да и сейчас еще не поздно задохнуться от возмущения: «Знаешь что, дорогой мой! А не пошел бы ты подальше! Как ты вообще мог...» Почему же он этого не делает?

На требование Прохора немедленно позвонить Вадиму Сараев только что-то промычал, но возражать не стал, подумав, что если Прохор решил, он всё равно отыщет номер Вадима, и даже найдет его самого. Он позвонил и передал телефон гостю. Тот вышел на кухню.

Положив локти на комод, Сараев склонил голову к приемнику, прижался лбом к его острому краю, и всё-таки слышал, как Прохор втолковывает Вадиму кто он такой и почему звонит с телефона Сараева. «Черпене быуо. Черпене ест. Черпене бендже...» – говорил по радио проповедник. Сараев сделал звук громче и принялся крутить ручку настройки.

Через несколько минут распаренный Прохор вышел из кухни и протянул ему трубку.

– Хочет с тобой поговорить, – сказал он и хлопнул Сараева по плечу.

Из трубки неслись шум, музыка, веселые женские крики.

«Алло». – «Андрей, вы?» – «Я». – «Извините, конечно, но что это всё значит? Какие еще сорежиссеры? Или я что-то не понял?» – «Это не моя инициатива...» – как можно тише произнес Сараев. «Надеюсь. В общем объясните ему – кто он там? – что он не по адресу, и точка». Вадим дал отбой.

– Ругается? – весело спросил Прохор. – Это ничего. Пусть пока привыкает к этой мысли. Надо бы еще проверить, кто он такой. Давай, за успех.

Перед уходом Прохор совсем уже вился как бес.

– Я тебе потом еще сообщу кое-что убедительное. Потом, – интриговал он и шутливо грозил из-за порога пальцем. – А откажешься – прокляну!

Укладываясь спать, Сараев думал, что сегодняшним днем это, похоже, не кончится и нервов ему Прохор еще попортит. И опять клял себя на чем свет стоит за то, что не воспользовался возможностью разорвать с ним отношения. Ну, ничего, слава Богу, есть Вадим.

ХІІІ

В подвале

Спустившийся в подвал помощник Вадима, ни слова не говоря, сел напротив Сараева и положил перед собой папку. Он неплохой парень, подумал Сараев. Это видно. Просто, как многие сейчас, потерянный. Или растерянный. Такое уж время. Отсюда и маска чрезмерной серьезности. Защита. Ну и ладно. Расспрашивать о причинах и последствиях того вероломного нападения Сараев не решался. У него было подозрение, что помощник выпросил у Вадима сегодняшнюю встречу, чтобы ею как бы перекрыть предыдущую. Сараев от всей души желал ему в этом поспособствовать и готов был поддержать любой разговор. Его сегодня распирало от хороших предчувствий. Пока помощник с мрачной деловитостью доставал из папки лист бумаги и граненый карандаш, Сараев старался глядеть на него весело и ласково. Застегнув и отложив папку в сторону, помощник еще какое-то время молчал и, наконец, вполголоса произнес: «Мы же не совсем лохи ушастые. Мы всё прекрасно знаем про мальчика. Смотрите». Он взял карандаш и принялся чертить на бумаге топографическую карту станицы Беспечная. Затаив дыхание, Сараев наблюдал за появлением рисунка, радуясь и изумляясь точности каждого старательно выведенного изгиба, верности каждой поставленной цифры. Ай да помощник! И что за твердая рука! Ни единой ошибки, ни малейшей помарки!.. Не в этом ли его искусстве был секрет той волшебной ясности, с какой Сараев сквозь паутину изогнутых замкнутых линий увидел поросшие по обочинам пыльным подорожником станичные улицы, пышущие сухим жаром деревянные заборы, сверкающую за деревьями шумную речку, подвесной дощатый мост, сонный хуторок на другом берегу, и там, на подъеме к хуторку, в сказочных непроходимых зарослях терновника – огороженный каменной кладкой источник, усыпанный по песчаному дну живыми линзами ключей?.. Тут-то и обрушились первые удары. Убежать в этот раз помощнику не удалось. Те же самые молодые люди, неожиданно появившиеся не с улицы, как тогда, а из второго зала, не жалели ни его, ни себя. Били руками и ногами; швыряли об стены и об стойку. И вот, когда подвал был уже весь залит и забрызган кровью, а истерзанный помощник, широко раскинув руки, неподвижно лежал на спине, пришло, наконец, время Сараева, который встал и объявил: «Встроенная нерукокоразнимаемость! Слышите, господа?! Встроенная нерукокоразнимаемость, друзья мои! Встроенная нерукокоразнимаемость!» Всего лишь два слова, два легких, певучих слова, но какие перемены! «Встроенная нерукокоразнимаемость, господа! Встроенная нерукокоразнимаемость!» – возглашал на все стороны Сараев, встряхивая ладонями. А тем временем ядовитая дыхательная смесь подвала вытеснялась чистым сияющим воздухом обновленного пространства, и каким же жадным счастливым смехом встречали это избавление все, кто находился в «Виктории», включая лежащего на полу помощника и его присевших на корточки истязателей!..

«Встроенная нерукокоразнимаемость, да-да, встроенная нерукокоразнимаемость... Боже, как же хорошо! Как хорошо! встроенная нерукокоразнимаемость...» – мысленно повторял Сараев, открывая глаза, досмеиваясь, утирая ладонью мокрое от слез, холодеющее лицо. Но абсолютная истина, выбравшая кратковременным обиталищем эти два слова, уже стремительно из них уходила, и минуту спустя восторг сменился тяжёлым недоумением, с которым окончательно проснувшийся Сараев уставился в тёмное окно. «Нерураз... неразрук...» – пытался он выговорить непослушными спросонья губами. Что за черт?

Отложив пересказ сна на утро, с надеждой, что, проснувшись, он его и не вспомнит, Сараев повернулся на другой бок.

За стеной разминались перед скандалом соседи.

XIV Место-ноль

История с пьяным звонком поэту Арбузову, о которой Сараев успел забыть, вдруг, неделю спустя, получила продолжение. Встретившись с Арбузовым где-то в городе и натолкнувшись на неожиданно холодный прием, Вадим поделился недоумением с Сараевым, и тот, в одну секунду сообразив, что рано или поздно продюсеру станут известны причины охлаждения, тут же во всём признался, благо по телефону это было сделать удобнее, чем с глазу на глаз.

Финал разговора вышел таким.

«Вы с ума сошли! Извините, конечно, но я просто даже не знаю, что тут сказать...» – «Я не думал, что это может его так огорчить, думал это его... ну, позабавит, что ли... как-то так». – «Чем?! Вот чем, интересно, это его могло позабавить? Человек пишет стихи всю жизнь, а вы ему говорите, что точно такие же написали за пятнадцать минут. Вы думали, ему это понравится? Вам бы такое понравилось? Нет, ну как так можно вести дела? Я целый вечер на это убил, знакомых привлек, сидели, слушали, а вы раз! и одним махом уничтожаете. Всё, считайте эта связь обрублена. Поздравляю!» – «А у нас с ним была связь?» – «У нас с ним отличная могла бы быть связь! Знаете, на ком женат его младший брат? На чьей сестре?» – «Я даже не знаю, что у него есть брат...» – «А что вы вообще знаете? Живете как во сне!» – «Ну так и нечего тогда меня таскать за собой! Вы, может быть, меня еще к вашим кришнаитам потянете? Я, конечно, отстал от всего, и не очень знаю, как сейчас делаются дела, но, мне кажется, это уже чересчур. Вот зачем, скажите, я там был нужен? Можете вы со мной поделиться соображениями, по которым вы меня туда затащили?» – «Только не надо вот этого! „Затащили“. Насколько я помню, вы там очень неплохо выпивали и закусывали. Лучше бы спасибо сказали. А если вы сами не в состоянии понять, объясняю. Всё очень просто. Человеку льстит знакомство с вами – про триста лучших фильмов, уж поверьте, в городе все, кому надо, давно знают. Но это еще не та известность, чтобы бежать с вами знакомиться. Зато принять у себя – с превеликим удовольствием. Такой вот психологический момент. Не забывайте, мы в Одессе». – «Вы хотите сказать, что я там был чем-то вроде свадебного генерала?» – «Ну да. А вы не заметили? Только вы вот теперь этим звонком свою репутацию угробили». – «Какую репутацию? Свадебного генерала? Вы в своем уме?!»

В этом был весь Вадим. Он порой сам не понимал, что говорил.

В конце разговора продюсер поинтересовался, прочел ли Сараев сценарии, хоть один из них, и вот тут Сараеву крыть было нечем, оставалось только отмалчиваться, что дало Вадиму возможность невозбранно отчитывать его еще несколько минут.

После этого разговора Вадим надолго исчез, а Сараев в тот же день сел за сценарии. Их было пять.

1. «Поющий луг». Ну, с этим всё было ясно, не стоило и открывать. 2. «Музикэ ушварэ» – комедия. Начиналась она с того, что возле погранзаставы на молдавско-чукотском участке границы (уже можно смеяться) под Новый год садится инопланетный корабль. 3. Еще комедия и того же автора, что и предыдущая, «Мадам Бровары». Самое полное собрание всех одесских хохмочек, шуточек и прибауточек; что-то настолько непотребное, что было даже как-то неприятно читать. 4. Вполне советский производственный сценарий чуть ли не 70-х еще годов из студийного неликвида; действие происходит на уже несуществующей судовой верфи. 5. Рукопись, по виду вообще не походившая на сценарий, сборник каких-то отрывочных, не связанных друг с другом впечатлений, зарисовок, путевых заметок и воспоминаний.

Сараева утешало только то, с каким злорадством он будет отчитываться о прочитанном. Попутно его всерьез беспокоил вот какой вопрос: его продюсер, Вадим, – он просто взял пер-

вое, что попало на глаза (вариант: то, что ему подсунили) или?.. Потому как если Вадим отбирал сценарии сам, то дело совсем плохо, и Сараеву придется признать, что он связался с идиотом. Впрочем, во всей этой куче мусора, как раз в той не похожей на сценарий рукописи нашлась и жемчужина – небольшой отрывок, на который Сараев не мог налюбоваться, и перечитал его несколько раз.

«В детстве мы с матерью и сестрой каждое лето выезжали за город, снимали дачу, то одну, то другую. Все они были разные, и вот тогда я заметил, что у каждого из домов (не внутри, а снаружи) есть особое скучное место, обычно это угол, какой-то ужасно-скучный угол. Вот ты идешь, идешь вокруг дома и каждый шаг, каждый сантиметр чем-то примечателен, более или менее чем-то наполнен, чем-то отзывается в сердце или в воображении. Но вот наконец ты подходишь к этому месту, где сразу же всё смолкает. Оно обычно всегда в тени, или же солнце там бывает только рано утром. Какая-нибудь скучная тощая вишня; сырая земля под нею; отчетливая и как будто поновее, чем везде, и тоже какая-то сырая кирпичная кладка с бегущим паучком; да еще неизменная прохлада даже в самую жару... Ничего особенного. Но при этом ничего скучнее и тоскливее невозможно придумать. Одна из особенностей такого места в том, что хотя в него можно прийти и из него можно уйти, и ты все время слышишь голоса матери и домочадцев, кудахтанье кур в курятнике, далекое тарактанье трактора и прочее, оно, это место, как будто не продлевает себя ни в какую сторону и со всем этим не имеет никакой связи. Оно совершенно безучастно. И если даже ветер шевелит листву, то вполне очевидно и его случайное появление здесь, и подневольный транзит – ему просто волей-неволей приходится преодолевать это мертвое пространство, чтобы следовать дальше. В глаза так и бросается совершенная самодостаточность данного места, его выключенность из окружающего мира. В детстве я его так и называл: „скучное место“, а став постарше, начитавшись книг (очень любил фантастику), придумал название посолоидней – „место-ноль“. И красиво, и вроде как действительно же всё здесь умножалось на ноль. Я вот сказал: скука. Но слово это (как и простодушное „дежавю“, которое первым приходит на ум) совсем не передает настоящего ощущения, оно просто наиболее близкое из подручного лексикона. Может быть вся загадка и морока в том и состояла, что я не мог (да и сейчас не могу) это ощущение обозначить, подобрать ему точное слово. Такое место просто узнаётся, и всё. Ни больше, ни меньше. Узнаваемость – вот все, что можно о нем сказать. И узнавая его, мы узнаём его сразу и целиком (исчерпывающе). Ощущение такое полное, что попытка определить: а из чего, собственно, составляется это наше знание о нем? выглядела бы как издевательство или неуместное притворство. Посещение такого места не проходит для нас даром. Побывав в нем, мы уносим с собой вирус узнаваемости, от которого нам уже, увы, никогда не избавиться. И вот в дальнейшем все складывается как нельзя хуже. Узнаваемость постепенно начинает преследовать нас. Всегда и всюду. Камень на душе. И вопрос: откуда и за что? За что?..»

И дальше еще там шла речь о связанном с этим ощущением невозможном одиночестве, но и этого было вполне достаточно. Ах, хорошо!.. Сараев даже позвонил по указанному на последней странице номеру, но трубку никто не взял.

XV

Поездка

В один из дней, вернувшись из магазина, он столкнулся на веранде с поджидавшей его Наташей. Судя по влажным пятнам на ситцевом халате и потемневшим волосам со свежими следами расчески, она только что выкупалась. От соседей по двору Сараеву было известно, что Наташа долгое время провела под Одессой среди последователей Порфирия Иванова, куда ее определили измученные постоянным пьянством и скандалами мать с сестрой. Там она и приобрела привычку обливаться водой по несколько раз на дню, но пить при этом не бросила, за что, по версии тех же соседей, и была оттуда изгнана. Сараев, бывало, поражался тому, как она в любой холод выходила с невысохшей еще головой в магазин и неторопливо, вразвалочку шла по улице в настежь распахнутом пальто поверх легкого платьяца, выпятив широкую грудь и расставив полные короткие руки так, что на тротуаре с ней было не разойтись. Трезвая – она всегда была как будто чем-то озабочена, даже подавлена, стоило ей выпить – и она веселела, когда выпивала много – стервенела и начинала буянить.

– Демид сказал тебе пол помыть, – неожиданно сообщила Наташа. Глядела она при этом настороженно; большое полупрозрачное пятно на правой груди было почти целиком заполнено розовым соском.

– Когда это он успел? – спросил Сараев.

– Он приходил, тебя не было.

– Это он пошутил.

Наташа решительно замотала головой.

– Он деньги мне дал.

Кажется, она опасалась, что в случае отказа ей, может быть, придется их возвращать, и, чтобы ее успокоить, Сараев нехотя согласился. Наташа подхватила приготовленное ведро и пошла за ним.

Оставив сумку с продуктами на кухне, Сараев взял стопку сценариев и улегся в спальне.

Наташа, показывая рукой, рассказала о своих планах:

– Сначала здесь помою. Потом там. А потом кухню.

– Давай, – сказал Сараев.

Перекинув через себя рукописи, он повернулся к стене. Наташа шваркнула мокрую тряпку на пол и шумно завозила ею из стороны в сторону.

Из дремоты его вывел незнакомый женский голос. Он обернулся и увидел на пороге сестру Павла Убийволка.

– Извините, если разбудила, – сказала она.

– Нет, ничего. Скорее не дали заснуть.

Сараев сел и хотел опустить ноги, но, увидев, что тапочек нет, а пол еще мокрый, поджал их под себя.

За спиной гостя появилась Наташа.

– Что, Наташа, всё? – спросил он.

– Демид еще сказал пыль вытереть.

– Ну, это в другой раз, иди, я сейчас занят.

– Завтра? – спросила Наташа.

– Может быть. Иди. Спасибо.

Наташа кивнула и ушла.

– Ваша домработница? – спросила сестра Убийволка.

– Нет. Соседка. Вы хотя бы сказали, как вас зовут.

- Анастасия.
- А Настя – можно?
- Можно.
- Может быть, сядете? Чаю хотите?
- Я к вам по поручению.
- Опять?
- А вы думали я просто так пришла?
- Ну, мало ли. Может быть, вам опять что-то неправильно нарисовали, надо помочь...
- Брат очень просит вас приехать.
- Сейчас?
- Да.
- Что-то случилось?
- Какое-то дело у него к вам. Сам он не может, заболел. Очень просил. Туда и обратно

на такси.

Сараев почесал голову и вздохнул.

– Видите ли, Настя, по правде говоря, мы ведь с вашим братом не так уж близко знакомы... – начал он и тут вспомнил про бинокль. Вот же дернул его черт вести тогда Убийволка к себе домой! Можно было, конечно, прямо сейчас вернуть бинокль и отказаться от поездки, но как-то слишком уж грубо это выглядело бы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.